

Императоры: Психологические портреты

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

I

Этой ночи Александр никогда не мог забыть. Ему даже порою снилась одна из комнат Елизаветы в нижнем этаже замка. Там белая мраморная девушка играла с голубем и тикали часы, изображавшие Бахуса на бочке. Александр тогда ушел из своего кабинета, чтобы не быть одному. Но Елизавета сидела недвижимая и молчаливая, и монотонное тиканье часов почему-то казалось страшным. Какая была мертвая тишина!

На одно мгновение глаза Александра встретились с голубыми холодными глазами непонятной красавицы, которая восемь лет тому назад была повенчана с ним по приказанию бабушки-императрицы. Теперь она поневоле делила с ним ужас этой ночи.

Александр сидел в кресле, сутулясь, как будто чьи-то незримые руки давили ему на плечи. Он вспомнил, как на днях он уговаривал плац-майора Михайловского дворца Аргамакова примкнуть к заговору и, когда тот колебался, упрекал его "не за себя, а за Россию". И Аргамаков согласился. Такова судьба. Теперь все кончено. Сегодня, сейчас все решится. Пален приведет заговорщиков, и они заставят безумного отца отречься от престола. Неужели он станет упрямитесь? Разве не великое счастье сбросить с себя это свинцовое бремя власти? Александр окружит его своим добрым попечением. Павел Петрович скоро убедится, что корона вовсе не нужна сыну. Надо освободить Россию, дать ей коренные законы, как в Англии, а потом покинуть трон, уйти куда-нибудь от этой отвратительной и в сущности мнимой самодержавной власти...

Александр согласился на переворот не для себя, а для России. И вдруг он вспомнил, что сегодня вечером, в восемь часов, дежурный полковник Саблуков явился к брату Константину с рапортом и был свидетелем постыдной сцены. Он застал там Александра. Раздались неожиданно знакомые шаги императора, распахнулась дверь, и, гремя шпорами, вошел Павел. Саблуков ничем не обнаружил боязни, но Александр, наследник и, быть может, завтра император, вел себя, как испуганный заяц... Этот Саблуков, чего доброго, напишет, пожалуй, в своих мемуарах, как цесаревич дрожал в постыдном страхе. И будущий историк не забудет рассказать потомству об этом позоре.

Сегодня Оболянинов водил братьев в церковь для вторичной присяги. И Александр перед крестом и Евангелием клялся в верности монарху. Значит, он, Александр, клятвопреступник? Но что же ему было делать? Надо было выиграть время. Пален сказал, что император готовил или казни или вечную тюрьму жене и детям. Но почему же сегодня за ужином отец смотрел на него так добродушно? И почему, когда Александр чихнул, отец сказал, улыбаясь: "Будьте здоровы, сударь"...

От этого воспоминания мучительно заболело сердце. И вдруг - странный топот наверху. Александру почудился даже крик. Быть может, заговорщики бежали или арестованы. Тогда все кончено. Павел казнит сына...

Ровно в половине первого распахнулась дверь, и вошел Пален. Но Александр не узнал его. Нет, это не граф Петр Алексеевич. Куда девались его насмешливые, веселые глаза? Где же его холодная, ироническая улыбка? Какой странный и жестокий у него взгляд. И говорит он что-то непонятное и страшное. Умер! Как умер? Почему? Ведь ему, Александру, обещано сохранить жизнь отца. Значит, император Павел убит! Он представил себе знакомое опрокинутое бледное лицо с мертвыми теперь глазами. Александр простонал: "Скажут, что я убийца..." Все заволкло синим туманом, исчезли комната с мраморной девушкой и часами, граф Пален, голубоглазая подруга... Когда Александр очнулся, перед ним было опять жестокое лицо Палена. Граф тряс его за плечи и кричал ему в ухо:

- Довольно быть мальчишкой!.. Извольте царствовать!

Но Александр опять повалился на кушетку, рыдая. К нему подошла Елизавета. Когда он увидел ее сухие глаза и почувствовал прикосновение ее руки, ему сделалось стыдно.

Пришлось выйти на крыльцо дворца, где стояли мрачно семеновцы и преображенцы. А в два часа Александра повезли в Зимний дворец. Елизавета осталась успокаивать императрицу-мать, которую солдаты не пускали к обезображенному телу императора. Так началось новое царствование. Этой ночи Александр никогда не мог забыть.

Император Александр Первый
Рис. Т. Лоуренса (мел, сангина)



II

Когда Александр был объявлен императором, ему было двадцать четыре года. Многомиллионная Россия была теперь как будто в его полной власти, ничем не ограниченной. Но с первых же дней своего царствования он убедился в том, что на самом деле эта власть была мнимая, что даже он в своей личной жизни вовсе не свободен, что любой российский гражданин больше принадлежит себе и собой располагает, чем он, самодержец.

Он был не свободен, потому что со всех сторон ему настойчиво предлагали противоречивые проекты и планы, и он постоянно чувствовал, что он как в сетях. Его убеждения одних радовали, других смущали, но он не успевал применять к делу свои мысли, и ему казалось, что во дворце прозрачные стены, и все смотрят на него, как будто он на эстраде. И он невольно говорил и держался, как плохой актер, чтобы утаить от всех свое сердце.

Он был не свободен еще и потому, что теперь вдруг стало ясно для него самого, что он вовсе не готов к роли монарха. Как прошло его отрочество? Как прожил он свои юношеские годы? Разве не чувствовал он себя пленником то екатерининского вельможного быта, то гатчинской кордегардии? Он никогда не мог быть таким грубым, как брат Константин. Приходилось ладить и с императрицей и с отцом, но он никогда не мог понять, как, например, брат, решался, насмехаясь, передразнивать отца за его спиной в присутствии Екатерины и ее любовника, а там, в Гатчине, издеваться над слабостями самодержавной монархини.

Нет, он, Александр, спасая себя, выдумал иные приемы, чтобы внушить к себе доверие и бабушки и отца. Он льстил, расточал нежные признания, покорно со всеми соглашался, обезоруживал кротостью, тая свое настоящее лицо под маской *"сущего прельстителя"*, как впоследствии выражался М. М. Сперанский.

Еще осенью 1779 года, когда Александру не было и трех лет, императрица писала Гримму: *"О! Он будет любезен, я в этом не обманусь. Как он весел и послушен, и уже с этих пор старается о том, чтобы нравиться"*.

Восьмилетним мальчуганом он удивил Екатерину, превосходно разыграв сцену из комедии "Обманщик". И немудрено, что, когда ему исполнилось четырнадцать лет, царица могла написать своему корреспонденту: *"Нынешней зимой господин Александр овладел сердцами всех"*.

А как его воспитывали? Чему учили? Первой его учительницей и воспитательницей была сама Екатерина. Она сочиняла для него учебники по всем правилам тогдашней педагогики, внушая ему, как ей казалось, здравые понятия о человеке и мире. Все это было отвлеченно, рассудочно и поверхностно, но императрица была очень довольна собой и своим воспитанником и хвасталась его успехами в письмах своих к Гримму.

Кое-чему, однако, мальчуган учился, играючи. Так по-английски, например, он научился говорить раньше, чем по-русски, потому что с младенчества к нему была приставлена англичанка. Его воспитателем был назначен граф Николай Салтыков, искушенный царедворец, любивший гримасничать и склонный к капризам. Этот человек маленького роста с большой головой не носил по каким-то гигиеническим соображениям подтяжек и непрестанно поддегивал рукой спадавшие с него штаны, чем очень забавлял своего воспитанника. Его педагогическая деятельность была ничтожна, хотя он и пользовался репутацией одного из самых проникательных вельмож. Другим воспитателем Александра был генерал Протасов. Его обязанности заключались главным образом в том, чтобы следить за повседневным поведением мальчика, и генерал добросовестно ворчал на своего воспитанника. Протасов оставил нам свой дневник, в коем мы находим отзывы об успехах будущего венценосца. И надо сказать, что эти отзывы далеко не так благоприятны, как отзывы самой царицы.

Русскую историю и литературу преподавал Александру М.Н. Муравьев, один из весьма значительных наших писателей XVIII века, но педагог слишком робкий и нерешительный. Математику читал будущему царю Массон, географию и естествознание - известный Паллас, физику - Крафт. Надо было также научить наследника закону божию, и Екатерина, опасаясь, чтобы мальчику не внушили каких-нибудь суеверий, подыскала для него самого безопасного в этом отношении протоиерея. Это был некто Сомборский, много лет проживавший в Англии, женатый на англичанке, бривший бороду и усы и носивший светское платье европейского покроя.

Под руководством обмирщенного протоиерея Александр сделал новые успехи в английском языке, но едва ли этот законоучитель успел внушить своему питомцу - какие-либо точные понятия о религии. Любопытно письмо этого протоиерея-англомана к митрополиту Амвросию. Оно, по-видимому, написано по поводу обвинений его, Сомборского, в уклонении от православия. Протоиерей не постыдился заявить следующее: *"Одобрения и беспристрастные свидетельства высочайших особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многоразличные толкования"*. Иными словами, Сомборский признал для себя безусловным духовным авторитетом коронованную развратницу Екатерину, которая сознательно сделала этого ловкого дипломата законоучителем Александра. Правда, Екатерина не достигла своей цели, и Александр в конце концов, как известно, обнаружил чрезвычайную склонность к мистицизму, впрочем, далеко не православному.

Но все эти педагоги играли вторые роли в деле воспитания Александра. Главным учителем и воспитателем будущего русского императора был швейцарец Лагарп. Этот человек, добродетели коего восхищали многих мемуаристов и биографов Александра, был типичный доктринер конца XVIII века. С покатым лбом, острым носом, тонкими губами, он напоминал чем-то Робеспьера. Подобно знаменитому якобинцу, он был склонен повторять непрестанно известные формулы, моральные и политические, как будто они являются божественным откровением, а не плодом весьма сухой и отвлеченной мысли. Лагарп, по-видимому, имел скудные сведения о подлинной жизни народных масс Европы, не говоря уже о том, что о русском народе он не имел никакого понятия. Он, однако, сумел привязать к себе своего питомца, который почувствовал,

вероятно, неподкупность своего воспитателя. Среди развратных и корыстных вельмож екатерининского двора Лагарп должен был производить впечатление человека серафического, и немудрено, что Александр проникся к нему уважением.

Нравственный авторитет Лагарпа понудил юношу без критики принять его довольно плоскую и сентиментальную философию. Сам Лагарп был всецело удовлетворен идеями и теориями Гиббона, Мабли и Руссо, что, конечно, соответствовало духу эпохи. Достаточно прочесть записку о воспитании, представленную Лагарпом Екатерине, чтобы оценить уровень его исторических знаний и его понимания истории. *"Не следует никогда забывать, - пишет он, например, - что Александр Македонский, одаренный прекрасным гением и блестящими качествами, опустошил Азию и совершил столько ужасов единственно из желания подражать героям Гомера, подобно тому как Юлий Цезарь из подражания этому самому Александру Македонскому совершил преступление, сократив свободу своего отечества"*.

Внуку Екатерины, по-видимому, нравились такие высокие и добродетельные идеи, и он, вероятно, поверил, что эллинизация Азии в самом деле произошла потому, что Александр Македонский захотел *"подражать героям Гомера"*. В голове юноши уже прочно сидела мысль о том, что существует некий *"идеальный человек"*, и все прекрасно устроится, когда мир обретет природную добродетель во вкусе Жан-Жака. Бабушка сама ему когда-то объяснила "Декларацию прав человека и гражданина" и тем подготовила почву для уроков Лагарпа. Правда, в революционной Франции после этой самой декларации произошли события, весьма удивившие и огорчившие русскую императрицу, но она все-таки поверила Лагарпу, что голова Капета, оказавшаяся в корзине гильотины, - случайная ошибка и что добродетель по-прежнему вне сомнений. Республиканец Лагарп, впоследствии разочаровавшийся в своей маленькой швейцарской демократии, тогда еще был убежден, что Вольтер напрасно развенчивал оптимизм Панглоса и что в этом мире все можно устроить превосходно, избегая якобинских крайностей.

Иную философию исповедовал в Гатчине опальный цесаревич Павел. Он не любил якобинцев. В этом вопросе юный Александр склонялся на сторону своего либерального воспитателя и даже уговорил своего брата Константина прицепить к мундирчику трехцветную кокарду. Однажды Павел, получив известия о новых жертвах гильотины, сказал своим сыновьям: "Вы видели, дети мои, что с людьми следует обращаться, как с собаками". Лагарпа Павел старался не замечать. Иногда он спрашивал Александра: "А что этот якобинец все еще около вас?"

Теперь, став императором, Александр припомнил все это, и порою у него являлись сомнения в правильности лагарповой философии. А тогда у него вовсе не было сомнений, и он твердо верил в *"права человека и гражданина"*. Но несмотря на философские разногласия, у Павла и Александра было кое-что общее. Они оба любили военную дисциплину, *"однообразную красоту"* парадов и суровую систему прусской государственности, Великая императрица все-таки была "баба". А в сердце мальчика, при всей его нежности, просыпалось иногда самолюбивое чувство мужчины.

С 1791 года Екатерина перестала скрывать от близких ей людей свой план устранения Павла от престола, и Александр, посвященный в этот план, был в ужасе от близости того часа, когда ему придется заявить наконец о себе, сбросив личину. А личину ему приходилось носить постоянно, ему, подростку, за которым шпионили все. Впрочем, один человек за ним не шпионил. Это был добродетельный Лагарп. И, кажется, Александр с совершенной искренностью полюбил его тогда, несмотря на всю узость и сухость доктрины этого своего ментора.

Разделяя мысли Лагарпа о возможном разумном и справедливом устройении будущего государственного порядка, юноша Александр полагал, однако, что было бы очень не худо, если бы этими опытами занялись другие люди, оставив в покое его. Александра, склонного к мирной и частной жизни, а не к роли государственного кормчего, властно направляющего среди бури бег *"державного корабля"*.

А пока ему приходилось хитрить и таить от всех свое отвращение к власти. Когда Екатерина открыла ему о своих намерениях устранить Павла и возвести на престол его, Александра, злополучный кандидат на русский трон написал бабушке письмо, достойное будущего соперника Талейрана и Меттерниха. В этом письме Александр как будто бы на все был согласен, и в то же время нельзя было никак воспользоваться этим документом как доказательством, что Александр намерен оспаривать права отца на верховную власть. В это же время он написал письмо Павлу, называя отца *"его величеством"* и тем как бы предрешая вопрос о престолонаследии: Александр был уверен, что этого письма цесаревич не покажет грозной бабушке никогда.

Юноша Александр худо представлял себе тогдашнюю Россию. Знаменитые *"потемкинские деревни"* заслоняли истинную картину русской жизни, не говоря уже о непрестанном гипнозе роскоши и великолепия екатерининского двора. Трудно было сосредоточиться и обдумать свое ответственное положение среди блестящей суеты. Масштаб екатерининской политики был не малый. Но эта великодержавная и победоносная политика, которую вела Екатерина при помощи Потемкина, Румянцева, Суворова и прочих ревнителей русской военной и государственной славы, слишком дорого обходилась стране и народу. Пределы России расширялись по плану Петра I, но это упорное стремление к естественным границам, к овладению, например, берегами Черного моря, не сопровождалось укреплением нашего беспредельного тыла. Наши финансы были неблагополучны: наше хозяйство было в беспорядке; внутренние силы страны в своем развитии отставали от завоевательных наших планов, и победы внешние не сопровождались правовыми и социальными реформами. Крепостные худо и лениво работали, тяготясь своим бесправием и нищетой. Мы знаем, как туго пришлось екатерининским генералам, когда Пугачев двинул на помещиков вольнолюбивых мужиков.

Но Екатерина не очень заботилась о том, чтобы Александр узнал подлинную, мужицкую Россию. Она старалась внушить ему уверенность, что ее политика превосходна, что пугачевщина - маленькое недоразумение, не более. Кажется, она сама поверила лести энциклопедистов, которые уверяли императрицу, что она благодетельница народа,

достойная удивления и преклонения. Льстивый юноша тоже курил ей фимиам, и государыня баловала своего любимца.

Между Павловском и Царским Селом она построила для него Александрову дачу. Там был разбит сад, по тенистым дорожкам коего разгуливал будущий император со своим воспитателем, слушая откровения о безмятежном благоденствии просвещенных западных народов. Лагарп советовал своему ученику просветить так же варварский русский народ, внушив ему понятия и чувства, какие свойственны, например, добродетельным швейцарцам. Александрова дача была подходящей декорацией для подобных сцен и диалогов. Дом великого князя живописно стоял на берегу озера. Все было очень аллегорично. В парке были расположены как памятники военные трофеи. Павильон был расписан эмблемами богатства и щедрот. В знак любви к народу была построена уютная хижина и против нее каменная глыба с надписью: "Храни золотые камни", то есть знаменитый екатерининский "Наказ", которого, впрочем, не оценил, как известно, грубый русский народ, потребовав вместо наказа воли и земли. Пришлось усмирять эту нетерпеливую чернь, но Екатерина делала вид, что она великодушно прощает неблагодарных и что после расправы с Пугачевым идиллия восстановлена и все благополучно.

Для прославления этого благополучия был построен храм "Розы без шипов". Купол поддерживался семью колоннами, а на плафоне был изображен Петр I, смотрящий с высоты небес на "блаженствующую Россию". Эта аллегорическая фигура опиралась на щит Фелицы, т. е. Екатерины, чей портрет и был написан на этом самом щите. Были и другие храмы - Цереры, Флоры и Помоны... Потом эта Александрова дача оказалась почему-то собственностью графа Н. И. Салтыкова, а впоследствии, когда Александр стал императором, была и вовсе заброшена, и никто не умилялся на храм "Розы без шипов", - очевидно, вера в такую противоестественность была утрачена.

III

Александр был умен. Он прекрасно понимал, что розы без шипов не бывает. И он боялся этих шипов. Государственные заботы ему казались непосильными и страшными. Надо было так много знать, всему учиться и обо всем помнить, а забвение так приятно. И так соблазнительно махнуть на все рукой. Его воспитатель Протасов писал в 1791 году, когда Александру было четырнадцать лет:

"Замечается в Александре Павловиче много остроумия и способностей, но совершенная лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтоб желать ведать о внутреннем положении дел, как бы требовали некоторого насилия в познании, но даже удаление читать публичные ведомости и знать о происходящем в Европе. То есть действует в нем одно желание веселиться и быть в покое и праздности. Дурное положение для человека его состояния. Я все силы употребляю пребороть сии склонности. От некоторого времени замечаются в Александре Павловиче сильные физические желания

как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошими женщинами".

Вероятно, от опытной в чувственных делах Екатерины не укрылись "сильные физические желания" юноши, о которых сообщает в своем дневнике простодушный генерал. К тому же ей хотелось, чтобы Александр как можно скорее попал в положение взрослого человека: ей хотелось, чтобы все привыкли смотреть на ее любимца, как на будущего императора. Надо было поскорее женить юношу. Екатерина навела справки у своих посллов, и ее выбор остановился на баденских принцессах. Их было там, в Бадене, немало и, по уверению их знавших, одна другой лучше. В октябре 1792 года две принцессы, Луиза и Фредерика, прибыли в Петербург. Фредерика была совсем ребенком, а старшей Луизе было четырнадцать лет. Она-то и сделалась невестой Александра.

Молодые люди сначала дичились друг друга - особенно смущался Александр, который дня два вовсе не разговаривал с предназначенной для него девицей. Но в конце концов милость принцессы покорила сердце юноши. Александр Яковлевич Протасов 15 января 1792 года записал у себя в дневнике об Александре:

"Он мне откровенно говорил, сколько принцесса для него приятна; что он уже бывал в наших женщин влюблен, но чувства его к ним наполнены были огнем и некоторым неизвестным желанием, великая нетерпеливость видется и крайнее беспокойство, без всякого точного намерения, как только единственно утешиться зрением и разговорами; а напротив, он ощущает в принцессе нечто особое, преисполненное почтения, нежной дружбы и несказанного удовольствия обращаться с нею, - нечто удовольствие, спокойнее, но гораздо или несравненно приятнее прежних его движений; наконец, что она в глазах его любви достойнее всех здешних девиц. Из сих разговоров внимал я, что он прямые чувства нежности начинает иметь к принцессе, а все прежние были - не любви, а стремление физическое молодого человека к видной, хорошей женщине, в которых сердце не имело участия..."

"Посему расположась, - продолжает сообщать Протасов, - говорил я его высочеству о сих чувствах и что прямая любовь, основанная на законе, соединена обыкновенно с большим почтением, имея нечто в себе божественное, поелику она, быв преисполнена нежности, прилепляется более к душевным свойствам, нежели к телесным, а посему самому не имеет тех восторгов, кои рождаются от сладострастия; что сия любовь бывает вечная, и что чем она медлительнее выражается, тем прочнее на будущие времена будет".

Екатерина, разумеется, не разделяла этой целомудренной философии добродетельного генерала. Царица не постыдилась поручить одной из дам подготовить Александра к брачному ложу, научив его тайнам "тех восторгов, кои рождаются от сладострастия". Неизвестно, удалось ли развратницам соблазнить юношу. Но эти опыты не прошли бесследно для Александра. То нежное чувство, которое возникло в душе юноши, теперь было отравлено и обезображено уроками, преподанными по предугазанию царственной любострастницы. Любовь Александра и Луизы, названной теперь Елизаветой, при самом своем зарождении была для них источником немалых страданий и сердечной боли.

Наружность и поведение Елизаветы внушали к ней симпатии многих. Стройная, нежная, голубоглазая красавица пленяла всех своей грацией и умом. Она была образованна. Она прекрасно знала историю и литературу, несмотря на свои четырнадцать лет. Александр, хотя и был на год старше ее, казался в ее обществе подростком. Красивый русский царевич, кажется, понравился баденской принцессе, но она не могла питать к нему тех чувств уважения и преклонения, какие свойственны невесте, влюбленной в жениха. Во всяком случае, в ее душе вовсе не было того "страха", который, по мнению мудреца, обязателен для жены по отношению к мужу. Самолюбивый юноша прекрасно чувствовал, что его невеста смотрит на него, как на мальчика, и это мучило его.

Были и другие обстоятельства, смущавшие его сердце. Однако 23 сентября 1793 года состоялось бракосочетание Александра и Елизаветы. Екатерина была в восторге и не иначе называла молодых, как Амуром и Психеей. Иные впечатления были у простодушного Протасова.

"В течение октября и ноября поведение Александра Павловича, - пишет он, - не соответствовало моему ожиданию. Он прилепился к детским мелочам, а паче военным, и, следуя прежнему, подражал брату, шалил непрестанно с прислужниками в своем кабинете весьма непристойно. Всем таковым непристойностям, сходственным его летам, но не состоянию, была свидетельница супруга. В рассуждении ее также поведение его высочества было ребяческое: много привязанности, но некоторый род грубости, не соответствующий нежности ее пола; он воображал, что надобно обходиться без чинов, и вежливость свободная, сопряженная с нежностью, была будто бы не у места и истребляла любовь".

Недоволен поведением Александра и другой свидетель его тогдашней жизни - Ф. В. Ростопчин, который в письмах к графу С. Р. Воронцову жалуется на то, что великий князь предается лени, ничему не учится и ничего не читает. Ростопчин заметил, что Елизавета *"хотя и любит своего супруга, но он для нее слишком молод". "Скука ее убивает"*.

В это время нашелся неожиданный претендент на благосклонность Елизаветы. Это был фаворит шестидесятилетней Екатерины - Платон Зубов. Он вдруг влюбился в супругу Александра и стал настойчиво за ней ухаживать. Не встретив сочувствия, этот человек, как рассказывает один мемуарист, по целым дням валялся на диване, изнемогая от страстного томления. Для утешения он заставлял своих крепостных музыкантов играть на флейте. Меланхолические и сладострастные звуки должны были, как он надеялся, исцелить его раненое сердце.

Само собою разумеется, что такие интриганки, как графиня Шувалова и другие придворные дамы, жадные до сплетен, с наслаждением следили за поведением молодой великой княгини.

15 ноября 1795 года Александр писал графу Кочубею: *"Мы довольно счастливы с моей женой, когда мы одни, если при нас нет графини Шуваловой, которая, к сожалению, приставлена к моей жене"*. Александр видел интригу, которую плели придворные негодяи, и от него не скрылись вождедения Зубова. *"Вот уже год и несколько месяцев, -*

сообщает он в том же письме, - *граф Зубов влюблен в мою жену. Посудите, в каком затруднительном положении находится моя жена, которая воистину ведет себя, как ангел*".

Графиня Головина, описывая двор того времени, рассказывает, между прочим:

"Удовольствиям не было конца. Императрица старалась сделать Царское Село как можно более приятным"... "Платон Зубов принимал участие в развлечениях. Грация и прелесть великой княгини произвели на него в скором времени сильное впечатление. Как-то вечером, во время игры, подошел к нам великий князь Александр, взял за руку меня так же, как и великую княгиню, и сказал: "Зубов влюблен в мою жену". Эти слова, произнесенные в моем присутствии, очень огорчили меня. Я сказала, что эта мысль не может иметь никаких оснований, и прибавила, что если Зубов способен на подобное сумасшествие, следовало его презирать и не обращать на него ни малейшего внимания. Но это было слишком поздно: эти несчастные слова уже несколько смутили сердце великой княгини"...

"После игр я по обыкновению ужинала у их императорских высочеств. Открытие великого князя все бродило у меня в голове. На другой день мы должны были обедать у великого князя Константина в его дворце в Софии. Я поехала к великой княгине с целью сопровождать ее. Ее высочество сказала мне: "Пойдемте скорее подальше от других: мне нужно вам что-то сказать". Я повиновалась, она подала мне руку. Когда мы были довольно далеко и нас не могли слышать, она сказала мне: "Сегодня утром граф Ростопчин был у великого князя с целью подтвердить ему все замеченное относительно Зубова. Великий князь повторил мне его разговор с такой горячностью и беспокойством, что со мной едва не сделалось дурно. Я в высшей степени смущена, не знаю, что мне делать, присутствие Зубова будет меня стеснять наверно"...

"Вечером мы вошли к императрице. Я застала Зубова в мечтательном настроении, беспрестанно бросавшего на меня томные взоры, которые он переводил потом на великую княгиню. Вскоре несчастное сумасбродство Зубова стало известно всему Царскому Селу".

Кажется, Екатерина узнала последняя о новой страсти своего любовника. По-видимому, она сумела излечить его от этого недуга, и ее горькое лекарство подействовало на него лучше, чем меланхолические звуки сладострастных флейт. Впрочем, существует легенда, которая приписывает Екатерине роль сводни в этой невеселой истории.

Любила ли Елизавета своего мужа? Когда-то она написала по-французски на клочке бумаги:

"Счастье моей жизни в его руках, если он перестанет меня любить, я буду несчастной навсегда. Я перенесу все, все, но только не это"...

А в январе 1793 года она писала своей матери, маркграфине баденской:



"Вы спрашиваете, нравится ли мне по-настоящему великий князь. Да, он мне нравится. Когда-то он мне нравился до безумия, но сейчас, когда я начинаю короче узнавать его (не то, чтобы он терял что-нибудь от знакомства, совсем напротив), но когда узнают друг друга лучше, замечают ничтожные мелочи, воистину мелочи, о которых можно говорить сообразно вкусам, и есть у него кое-что из этих мелочей, которые мне не по вкусу и которые ослабили мое чрезмерное чувство любви. Эти мелочи не в его характере, я уверена, что с этой стороны он безупречен, но в его манерах, в чем-то внешнем"...

Императрица Елизавета Алексеевна
Портрет Дж. Доу

IV

Вначале 1795 года уволен был Лагарп, и Александр совсем перестал учиться и работать. Современники уверяют, что он забросил книги и предавался лени и наслаждениям. Только гатчинские упражнения на военном плацу продолжали будто бы занимать будущего императора. Возможно, что все это правда, но едва ли Александр совсем бесплодно проводил время. Он внимательно наблюдал за тем, что делается вокруг. И если он не успел узнать подлинной, народной России, удаленной от него, зато он успел возненавидеть самодержавие бабушки и низость придворного быта. Будущий самодержец, он стыдился тогда безумия неограниченной власти и мечтал избавиться как-нибудь от нее.

21 февраля 1796 года Александр писал Лагарпу: *"Дорогой друг! Как часто я вспоминаю о вас и о всем, что вы мне говорили, когда мы были вместе. Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания. Оно с каждым днем становится для меня все более невыносимым по всему, что делается вокруг меня. Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встречаешь честного человека..."*

Далее Александр жалуется, что придворный быт мешает его занятиям наукой. Но он, Александр, надеется одолеть эти неблагоприятные условия и вновь приняться за книги по программе, которую ему предложил, уезжая, Лагарп.

Александра пугает также чрезмерное увлечение брата Константина военной дисциплиной. *"Военное ремесло вскружило ему голову, и он иногда жестоко обращается с солдатами своей роты..."* "Я уже, хотя и военный, - заканчивает он свое письмо, - жажду лишь мира и спокойствия и охотно уступлю свое звание за ферму подле вашей или, по крайней мере, в окрестностях. Жена разделяет мои чувства, и я в восхищении, что она держится моих правил".

Весною того же года Александр пишет своему приятелю Виктору Павловичу Кочубею, который в это время занимал пост нашего посла в Константинополе:

"Мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравится исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыковы, Мятлев и множество других, которых не стоит даже и называть и которые, будучи надменны с низшими, пресмыкаются перед тем, кого боятся. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что рожден не для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом. Вот, дорогой друг, важная тайна, которую я уже давно хотел передать вам; считаю излишним просить вас не сообщать о ней никому, потому что вы сами поймете, что это нечто такое, за что я мог бы дорого заплатиться..."

По-видимому, Александр духовно созрел и возмужал. Это уже не тот мальчик, который *"непристойно"* шалит со своими камердинерами. У него сложились взгляды и убеждения. И если в них много сентиментальной мечтательности, то все же в них уже есть и та горькая правда, которая мучила этого императора всю его жизнь. Двадцать пять лет царствовал самодержавно Александр; двадцать пять лет он воевал и управлял, возбуждая к себе то добрые чувства, то страстную ненависть, но время от времени навязчивая идея об отречении от престола возникала в его душе, и он изнемогал в этом борении с самим собою. Так, в 1817 году, во время одной из своих поездок на юг, он в присутствии нескольких лиц сказал: *"Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в минуту опасности первый идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться..."* "Что касается меня, - продолжал он с выразительной улыбкой, - я пока чувствую себя хорошо, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят..."

Присутствующие прервали государя. Однако не у одного Михайловского-Данилевского, бывшего свидетелем этого разговора, должна была явиться мысль о судьбе Диоклетиана. Через два года в Красном Селе, на обеде у брата Николая, он сказал ему и его жене Александре Федоровне, что Константин отказался от прав наследника и что Николаю надо готовиться принять власть, и что *"это случится гораздо раньше, чем можно предполагать, так как это случится еще при его, Александра, жизни..."*

"Я решил сложить с себя мои обязанности, - сказал император, - и удалиться от мира".

Осенью того же года в Варшаве Александр сказал брату Константину, что он твердо решил *"абдикировать"*. В 1824 году он говорил Васильчикову: *"Я был бы рад сбросить с себя бремя короны, ужасно тягостной для меня..."* Весной 1825 года он сделал подобное же признание посетившему Петербург принцу Оранскому. Наконец 15 августа 1826 года, накануне коронации Николая Павловича, Александра Федоровна писала в своем дневнике: *"Наверное, при виде народа я буду думать о том, как покойный император, говоря нам однажды о своем отречении, сказал: "Как я буду радоваться, когда я увижу вас проезжающими мимо меня, и я, затерянный в толпе, буду кричать вам ура"*.

Итак, всю жизнь Александр лелеял одну мечту. Если в юности он романтически рисовал себе будущее, как скромную жизнь *"с женой на берегах Рейна"*, полагая свое *"счастье в обществе друзей и в изучении природы"*, то под конец жизни это бегство от власти он уже не представлял себе, как счастливую идиллию. Но и в эти последние, трудные годы его мысль была прикована к одной надежде - бросить все и уединиться во что бы то ни стало... Но каждый раз эта надежда туманилась и вовсе исчезала, потому что не так легко сбросить с себя корону. Александр понимал, что надо что-то сделать сначала, обеспечить государство от полного развала и гибели, кому-то передать власть, но сделать это, оказывается, не так просто. И вот у него постепенно складывалось убеждение, что надо сначала установить какой-то порядок, дать России закон и гражданственность, и потом, когда свобода станет достоянием страны, уйти, предоставив иным продолжать начатое им дело.

Когда эти мысли складывались у него в душе, как нечто стройное и для него самого убедительное, судьба свела его с одним человеком, который сыграл в его жизни не последнюю роль. Это был молодой польский аристократ князь Адам Чарторижский, попавший в Петербург как заложник. Он был старше Александра на семь лет. Значит, в 1796 году Александру было девятнадцать лет, а Чарторижскому двадцать шесть. Молодой польский патриот, изящный и красивый, был умен, образован и выделялся при дворе Екатерины, и немудрено, что Александр стал искать с ним близости. Адаму Чарторижскому нетрудно было занять своей особой воображение молодого великого князя и его прелестной жены. Чарторижский, будучи еще шестнадцатилетним мальчиком, успел познакомиться с выдающимися людьми эпохи. Он знал многих немецких филологов и писателей, он знал Вилланда, Гердера и самого Гете. В 1793 году он жил в Англии. В 1794 году сражался против России под знаменами Костюшки, который теперь томился по воле Екатерины в петербургском плену.

Однажды весной - это было в 1796 году - Александр пригласил Чарторижского к себе в Таврический дворец. Они вышли в сад, и Александр гулял со своим гостем часа три, изумляя иностранца своей откровенностью и свободомыслием.

"Великий князь сказал мне, - пишет Чарторижский в своих мемуарах, - что он несколько не разделяет воззрений и правил Кабинета двора; что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки; что он порицает ее принципы; что все его желания были на стороне Польши и имели предметом успех ее славной борьбы; что он оплакивал ее падение; что Костюшко в его глазах был человеком великим по своим добродетелям и потому, что он защищал дело человечества и справедливости. Он сознался мне, что ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях; что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди; что он с живым участием следил за французской революцией... "

"Прохаживаясь вдоль и поперек по саду, - продолжает Чарторижский, - мы несколько раз встречали великую княгиню, прогуливавшуюся отдельно. Великий князь сказал мне, что его супруга - поверенная всех его мыслей, что она одна знает и разделяет его чувства, но что, за исключением ее, я - первое и единственное лицо, с которым после отъезда его наставника он решил говорить о них; что он не может поверить их решительно никому, ибо никто в России еще не способен разделять их или даже понять..."

"Этот разговор был пересыпан, как легко себе представить, излишними дружбы с его стороны, с моей - выражениями удивления и благодарности и уверениями в преданности..."

"Я расстался с ним, сознаюсь в том, вне себя, глубоко взволнованный, не знаю, сон ли это или действительность..."

Мы, впрочем, теперь знаем, что Адам Чарторижский был взволнован тогда не только беседой великого князя, но и пленительной наружностью его жены, будущей императрицы Елизаветы Алексеевны.

V

Кто окружал тогда Александра? Кто кроме Адама Чарторижского был ему близок? Приходится назвать прежде всего молоденького тогда камер-юнкера А. Н. Голицына, которому впоследствии также довелось играть немалую роль в биографии монарха. Тогда ни он, ни Александр этого не предугадывали. Маленький и забавный, только что кончивший пажеский корпус, несравненный шутник, умевший с удивительным искусством передразнивать любого человека, он сделал себе придворную карьеру, цепляясь за юбку старой дамы Марьи Савишны Перекусихиной, у которой была незавидная репутация придворной сводни. Александр считал его своим приятелем. Тогда еще юный Голицын не был склонен к пиетизму и, кажется, тратил свои физические и душевные силы на приключения, весьма сомнительные в нравственном

отношении. В своих мемуарах Чарторижский пишет про него: *"Маленький Голицын в то время, когда мы с ним познакомились, был убежденным эпикурейцем, позволявшим себе с расчетом и обдуманно всевозможные наслаждения, даже с весьма необычными вариациями"*.

В 1796 году приехали в Петербург молодые супруги - граф П. А. Строганов и его жена Софья Владимировна. Эта красивая и умная женщина, несмотря на свой маленький рост и некоторую сутулость, с годами превратившую ее в горбунью, обладала чарами, покорявшими сердца многих. От ее очарований не был свободен одно время и Александр, сохранивший до конца дней полное к ней уважение и симпатию. Ее муж, большой поклонник английской конституции, в юности по капризу своего отца, известного мецената и масона, попал в руки своеобразного воспитателя - Жильбера Ромма, который, сопровождая его в заграничном путешествии, ввел молодого человека в 1789 году в Парижский якобинский клуб. Юный Строганов тогда же вступил в связь с прославленной куртизанкой Теруань-де-Мерикур, которая в мужском наряде водила за собой мятежников в Версаль, требуя королевской головы.

С. В. Строганова стала впоследствии самой верной наперсницей императрицы Елизаветы, а сам граф был правой рукой Александра в первые годы его царствования. Среди тогдашних друзей Александра весьма заметен был еще один человек - Н. Н. Новосильцев, родственник графа Строганова. Он был значительно старше Александра и производил на него большое впечатление своим умом, образованностью, способностями и умением изящно и точно излагать свои мысли. Впрочем, и этот выдающийся человек не мог быть добрым примером в отношении нравственности, по чрезвычайной своей склонности к чувственным наслаждениям.

О Викторе Павловиче Кочубее, тоже приятеле будущего царя, можно сказать устами желчного Вигеля: *"Перед соотечественниками ему было чем блеснуть: он лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских публицистов и, как львенок крыловской басни, собирался учить зверей вить гнезда. Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий взгляд, надменная учтивость были блестящей завесой, за коей искусно он прятал свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало ему, когда еще ничем он его не заслужил..."*

Но вот в начале ноября 1796 года Екатерина скоропостижно умерла. На престол вступил Павел. Все тотчас изменилось. Чуть ли не в тот же день Александру пришлось, облачась в старомодный прусский мундир, устанавливать полосатые будки вокруг дворца, как в Гатчине.

Павел не сразу разогнал либеральных друзей Александра. Братьев Чарторижских он даже награждал какими-то орденами. Вместе с Александром новый царь посетил Костюшку, который жил на тюремном положении в одной из комнат Мраморного дворца. Павел, как известно, поспешил освободить вождя польских повстанцев. Но полонофильские чувства Павла были не особенно прочны. Через год он неожиданно удалил Адама Чарторижского, сделав его сардинским посланником, а брата его понудил подать в отставку и отправил за границу.

К концу Павлова царствования в Петербурге из тогдашних вольнодумцев при Александре оставался один только П. А. Строганов. Зато у цесаревича был теперь совсем иного склада верный друг и преданный слуга - Алексей Андреевич Аракчеев. Этот любимец Павла дважды, впрочем, лишился его милости, то из-за подполковника Лепя, застрелившегося после оскорблений, нанесенных ему временщиком, то за ложный донос по поводу кражи в арсенале. Этот грубый и полуобразованный гатчинский капрал нужен был Александру как надежный служака. За его холопией спиной прятался цесаревич от строптивного Павла. Правда, трудно и тяжело было смотреть на аракеевские приемы дисциплины, но другого выхода не было.

"Алексей Андреевич, - писал Александр в 1796 году, - имел я удовольствие получить письмо ваше и сожалею весьма, что майоры и офицеры мои подвергаются наказаниям, особливо в столь легких вещах. Надеюсь, что вперед буду рачительнее..."

Аракчеев был нужен Александру как дядька. Чтобы избавить будущего императора от необходимости рано вставать для подписания утреннего рапорта Павлу, Аракчеев с готовой бумагой приходил по утрам к цесаревичу, когда тот еще лежал в постели вместе с женой, и Елизавета Алексеевна прятала плечи под одеяло, пока гатчинский генерал разговаривал с Александром. Александр ценил его преданность. *"Друг мой, Алексей Андреевич, - писал он, - я пересказать тебе не могу, как я рад, что ты с нами будешь. Это будет для меня великое утешение и загладит некоторым образом печаль разлуки с женой, которую мне, признаться, жаль покинуть"*.

Кстати, эта записка, посланная из Москвы в 1797 году, хотя и свидетельствует о добром отношении Александра к жене, однако едва ли могла вполне удовлетворить самолюбие супруги, надеявшейся, вероятно, что никакой гатчинский служака не может ее заменить ни в какой мере.

Впрочем, трудно предположить, чтобы Александр, человек неглупый и не лишенный нравственного чувства, мог не видеть низких и темных особенностей аракеевской натуры. Ведь однажды на вахтпараде, когда Павел заставил Аракчеева подать в отставку, цесаревич, расспрашивая об этой новости генерал-майора П. А. Тучкова, назвал своего будущего фаворита "мерзавцем". И вот, однако, этот "мерзавец" был необходим Александру. Так, должно быть, любят цепных псов, охраняющих ревниво господское добро. И, однако, Александр не был слепым ревнителем павловских и аракеевских порядков. В 1797 году он послал тайно Лагарпу письмо, в котором между прочим писал:

"Благосостояние государств не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая вся творит шиворот-навыворот. Невозможно передать все эти безрассудства, которые совершались здесь. Прибавить к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме; заслуги здесь не при чем, одним словом, мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать мое сердце. Я сам, обязанный подчиняться

всем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составлявшим мое любимое время препровождение... Я сделался теперь самым несчастным человеком".

VI

И вот наконец Александр сам взял в руки власть. Теперь он мог сам распоряжаться самодержавно судьбой многомиллионного народа. Когда-то Павел в одном из своих рескриптов объявил, что во Французской республике *"развратные правила и буйственное воспаление рассудка"* попрали закон нравственности... Александр был уверен, что ему не придется писать таких мрачных рескриптов. Его друг П. А. Строганов рассказал, как веселился французский народ, когда пала Бастилия. Правда, тот самый Жильбер Ромм, который научил Строганова веселой якобинской философии, впоследствии закололся кинжалом, потому что ему самому угрожала гильотина, но подобные эпизоды еще более оттеняют здравую идеологию настоящих республиканцев. Александр и его ближайшие друзья, немедленно вызванные в Петербург, были "республиканцами". В мае 1801 года Строганов предложил молодому царю образовать негласный комитет и в нем обсуждать планы государственного преобразования. Александр охотно согласился, и друзья, шутя, называли свой тайный комитет Комитетом Общественного Спасения. А пока спешно были опубликованы либеральные указы.

Уже 17 марта, когда изуродованное тело Павла, прикрытое порфирой, лежало в тронной зале Михайловского замка, и любопытствующие могли видеть подошвы ботфортов императора и поля широкой шляпы, надвинутой на лицо задушенного, вышел ряд указов, весьма облегчавших обывательскую жизнь. Была уничтожена Тайная Экспедиция. Наша петербургская Бастилия - Петропавловская крепость - опустела: многие заключенные в ней были выпущены. Находившиеся в ссылке стали съезжаться в недавно еще недоступную им столицу. Вернулся в Петербург из деревни и Александр Николаевич Радищев. Число лиц, получивших вновь утраченные ими при Павле права, равнялось, кажется, двенадцати тысячам человек.

15 марта был опубликован манифест с амнистией эмигрантам. Был издан особый указ обер-полицмейстеру, где предлагалось полиции *"не причинять никому никаких обид"*. Разрешался ввоз из-за границы книг, что было запрещено покойным императором. Частные типографии, запечатанные при Павле, снова стали работать. Жалованная грамота дворянству была восстановлена, равно как и городовое положение. В апреле были уничтожены виселицы, которые стояли на площадях с прибитыми к ним именами провинившихся. Переменили военную форму и, хотя новые мундиры с чрезмерно высокими и твердыми воротниками тоже были весьма неудобны, все ими восхищались только потому, что уничтожены были ненавистные мундиры прусского образца.

Более серьезные реформы надо было обдумать и обсудить основательно. Главное, надо было ознакомиться с положением дел в стране. У молодого императора были очень смутные понятия о некоторых вещах первостепенной важности. Крестьянский вопрос, например, казался ему легко разрешимым, пока он не стал венценосцем. Теперь все, казавшееся простым, неожиданно стало трудным и сложным. Кроме того, кое-чего император вовсе не знал.

В мае от его имени было сделано распоряжение - не печатать в официальных ведомостях объявлений о продаже помещиками крестьян без земли. Забыл ли этот свой приказ император или он как-нибудь прошел для него самого незаметно, только впоследствии выяснилось, что Александр вообще не знал, что у дворян есть такое право - продавать людей, как скот, разлучая жен, мужей и детей. Будучи за границей, царь с негодованием отрицал, что в России такое право существует. Однако, убедившись из одной случайной жалобы, что российское рабство в самом деле рабство, а не сельская идиллия, царь поднял этот вопрос в Государственном совете, изумив почтенных членов высшего правительственного учреждения своим простодушным неведением наших тогдашних порядков. Ученику Лагарпа пришлось поздно узнать кое-что, о чем надлежало подумать раньше.

Негласный комитет состоял из графа В. П. Кочубея, П. А. Строганова, Н. Н. Новосильцева и князя Адама Чарторижского. Александр был по возрасту младшим. Вольнодумцы и республиканцы, как только им пришлось заняться реальной политикой, стали вдруг очень осторожными и медлительными. Решено было сначала изучать Россию, а потом уже приступать к реформам. Кое-что, впрочем, надо было делать немедленно.

Идея Лагарпа о том, что закон должен быть выше монарха, усвоен был Александром хорошо. Поэтому летом дан был указ об учреждении особой комиссии по составлению законов. В одном из частных писем того времени Александр писал: *"Как скоро я себе дозволю нарушить законы, кто тогда почтет за обязанность наблюдать их? Быть выше их, если бы я мог, то, конечно, бы не захотел, ибо я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекала"*... Все эти благонамеренные слова не совсем, однако, вязались с практикой молодого государя. Улита едет, когда-то будет, а пока приходилось самому решать все, ибо незыблемых законов еще не было, а со всех сторон люди торопят, добиваются чего-то, предлагают свои услуги, а верить никому нельзя, ибо это все те же люди, каких ему, Александру, не хотелось иметь даже в качестве лакеев.

Приехал, правда, из Швейцарии Лагарп. Но Александру он казался теперь не таким авторитетом, как раньше. Этот вечно резонерствующий сорокалетний человек был немного смешон. В качестве члена Гельветийской директории он всегда носил форму своего звания. Поверх кафтана болталась на вышитом поясе большая сабля, и Александру казалось забавным видеть своего мирного педагога в таком воинственном наряде.

На заседания Негласного Комитета Лагарпа не приглашали. Эти тайные собрания происходили два или три раза в неделю. После кофе и общей беседы император

удалялся, и в то время как все приглашенные разъезжались, четыре человека пробирались, как заговорщики, по коридору в одну из внутренних комнат, где их ждал Александр. Здесь вершались судьбы России, но пока еще очень отвлеченно и не совсем согласно. Исполнительная власть была еще в руках старых вельмож, и сановники недоверчиво смотрели на ревнителей новой государственной программы. В их глазах друзья молодого императора были "якобинской шайкой".

Александр не любил екатерининских вельмож. К некоторым из них он питал непреодолимое отвращение. Протяжный и гнусавый голос какого-нибудь графа А. Р. Воронцова и вообще манеры всех этих льстивых и лукавых царедворцев были противны царю. Но они были сведущи в текущих делах и приходилось иметь дело с Д. П. Трошанским, А. А. Беклешовым, графом Завадовским, графом Марковым и другими. От убийц Павла Александр отделался довольно легко. Даже всемогущий граф Пален без всякого сопротивления с его стороны был удален от двора летом 1801 года. Значит, этого надменного и властного человека Александр терпел около себя всего лишь три с половиной месяца.

Вельможи спорили друг с другом и даже иногда в присутствии государя. *"Между ними есть зависть, - сказал однажды Александр своему генерал-адъютанту Комаровскому. - Я заметил это, потому что, когда один из них объясняет какое-либо Дело, кажется, нельзя лучше; лишь только он коснется для приведения в исполнение до другого, тот совершенно опровергает мнение первого, тоже, кажется, на самых ясных доказательствах. По неопытности моей в делах я находился в большом затруднении и не знал, кому из них отдать справедливость; я приказал, чтобы по генерал-прокурорским делам они приходили с докладом ко мне оба вместе, и позволяю им спорить при себе сколько угодно, а из всего извлекаю для себя пользу"*.

Так поневоле учился Александр царствовать. Мечты о прекрасной идиллии на берегах цветущего Рейна, о счастливой и мирной жизни в качестве простого гражданина пришлось оставить. В самом деле, что было делать Александру? Кому передать власть? Нашлись бы, конечно, царедворцы, которые согласились бы взять на себя обязанности правителей, но такая олигархия знати погубила бы Россию. На это пошли бы как раз самые недостойные и корыстные.

Члены Негласного Комитета, кстати сказать, прекратившего свои занятия через год с небольшим, не смели даже помыслить о верховной власти. Кроме того, в их среде не было единства. Адам Чарторижский, например, чувствовал себя одиноким, несмотря на чрезвычайное благоволение императора. *"Хотя я и близко был связан с моими товарищами по неофициальному комитету, - пишет он в своих мемуарах, - я все же не мог им вполне довериться: их чувства, их постоянно проявлявшийся чисто русский образ мыслей, слишком разнились от того, что происходило в глубине моей души..."* А между тем Александр поручил ему руководство внешней политикой!

Наблюдательный Жозеф-де-Местр, бывший тогда сардинским посланником при нашем дворе, писал в это время в своих записках: *"Чарторижский будет всемогущ. Он высокомерен, коварен и производит впечатление довольно отталкивающее. Сомневаюсь, чтобы поляк, имевший притязание на корону, мог быть хорошим*

русским". Мнение французского эмигранта разделяли многие русские патриоты. Это не было секретом для Александра, но он уже научился презирать мнения своих подданных.

К чему свелась деятельность Негласного Комитета? Никто из его членов не предложил никакого серьезного конституционного проекта. Все полагали, что надо подождать, - так думал даже ученик Жильбера Ромма Строганов. Конституция в то время была возможна лишь сословная и цензовая, с явным преобладанием аристократов. В такой конституции Александр и его друзья видели прямую угрозу их филантропической программе. Знать и богатые дворяне, окружавшие *"жадной толпой"* трон, не хотели коренных социальных реформ, уверенные после их победы над Пугачевым, что не пришло время делиться чем-либо с народом. Но, с другой стороны, крестьянский вопрос, к которому неоднократно возвращался Негласный Комитет, требовал участия в его решении каких-то политически грамотных людей, а их не было вовсе, а те, которые были, относились к этому вопросу небескорыстно, как явно в нем заинтересованные.

Александр обращался то к одному, то к другому государственному деятелю, предлагая сочинить проект крестьянской реформы, но каждый раз наталкивался на неодолимые препятствия. Иные старые деятели оказались, впрочем, в этом вопросе более либеральными, чем молодые реформаторы.

А. Р. Воронцов предлагал, например, проект о владении крестьян недвижимой собственностью, - проект, казавшийся в то время первым шагом к освобождению крестьян от крепостной зависимости.

Мордвинов, человек со взглядами английского тори, поддерживал идею о праве владения недвижимыми имуществами купцов, мещан и казенных крестьян, но он твердо стоял на той точке зрения, что освобождение крестьян от крепостной зависимости может совершиться только по желанию самого дворянства. Будучи либералом, он хотел освобождения крестьян, но он надеялся, что с образованием достаточного количества хуторян или фермеров с наемными работниками, такого типа хозяйства вытеснят хозяйства помещичьи с землепашцами крепостными, и таким образом безболезненно совершится крестьянская эмансипация.

Все проекты немедленно подвергались злой критике. Александр не мог остановиться ни на одной программе, потому что он повсюду встречал глухое и мрачное сопротивление. Нельзя было давать дело освобождения в руки его врагов. Однако Александр и впоследствии постоянно возвращался к вопросу об уничтожении крепостного права. Он даже поручал Аракчееву представить ему соответствующий проект, и Аракчеев сочинил план постепенного выкупа крестьян у помещиков с наделом в две десятины, но Александр не в силах был довести дело до конца даже в жалких пределах грубой аракчеевской реформы. В этом вопросе у императора не было никакой поддержки. Даже Лагарп находил, что небезопасно освобождать крестьян при столь низком уровне их просвещения. Надо их сначала образовать и перевоспитать, а потом освобождать.

Не мешало перевоспитать и господ дворян, равно как и сановников. Не было людей. Александр долго не мог найти подходящего человека на пост петербургского военного губернатора. Назначенный на этот пост фельдмаршал Каменский начал свою

деятельность тем, что в припадке жестокого чудачества встретил однажды своего правителя канцелярии кулаками и так его толкал под бока, что несчастный *"козлиным голосом вопиял до небес"* и по возвращении домой тяжело занемог.

Александр было скучно с этими людьми. Екатерина когда-то прикрывала блеском и роскошью двора темные нравы эпохи. Павел любил торжественную пышность трона, но все поневоле, от страха перед самодержавными причудами безумца бежали и таились, где кто мог; Александр не любил ни пышности, ни роскоши, он хотел сблизиться с людьми, искал их, но поиски его почти всегда были тщетны. Его осуждали за излишний демократизм. Он одевался и держал себя, как простой гвардейский офицер, удивляя всех воим отвращением к державному церемониалу.

15 сентября 1801 года пришлось короноваться в Москве. Александр изнемогал от обязательного великолепия обрядов и этикета. При первой возможности он удалялся от придворной толпы и часами оставался один, молча, с угрюмым и неподвижным взглядом. Он торопился уехать из Москвы, хотя его везде приветствовали восторженно, и однажды сказал: *"Когда показывают фантом, не следует делать это слишком долго, потому что он может лопнуть"*.

VII

По случаю коронации были объявлены разные награды, но многие сановники были недовольны, не получив крестов, на что они рассчитывали. Одному из таких недовольных Александр сказал: *"Большая часть крестьян в России рабы: считаю лишним распространяться об унижении человечества и о несчастий подобного состояния. Я дал обет не увеличивать числа их и потому взял за правило не раздавать крестов в собственность"*.

Едва ли эти мысли утешили сановника, что не так уж удивительно, ибо даже просвещенные литераторы того времени не очень были склонны к крестьянской эмансипации. Карамзин, например, в своем "Вестнике Европы" охотно помещал сентиментальные повести, где жизнь крепостных и быт помещиков изображались, как счастливая идиллия. А ведь Карамзин был самый образованный человек века. А в "Друге просвещения" появлялись время от времени заметки Державина и Шишкова, где встречались недобрые намеки на "якобинскую" программу императора. Вот в какой обстановке начал существовать Александр. И даже те журналы, которые как будто поддерживали либеральные идеи молодой партии, никогда не могли отрешиться от сословной, классовой заинтересованности. Так, например, издававшийся И. И. Мартыновым "Северный Вестник", получая субсидию от правительства, защищал конституционную программу, но ревниво охранял привилегии помещиков-дворян.

Александр вступил на престол с искренними намерениями ограничить абсолютизм, но на практике ему приходилось пользоваться своей властью самодержавно и попытки ее умастить встречали с его стороны гневный отпор. Известно, например, его столкновение

с Сенатом, когда господа сенаторы пытались отклонить закон об обязательной службе дворян унтер-офицерского звания. Когда испуганный генерал-прокурор, поэт Г. Р. Державин, совсем не в поэтическом трепете прибежал к царю со словами: *"Государь! Весь Сенат против вас..."* - Александр изменился в лице и сухо ответил, что он это дело разберет. Спустя несколько месяцев последовало разъяснение, что Сенат превысил свои полномочия, и тем все дело кончилось.

Александр удалил от трона Палена, Панина и Зубова, но он прекрасно знал, что поверни он кормило государственного корабля покруче, снова явятся заговорщики, и опять найдутся графы и князья, которые убьют его так же, как убили они Павла. Но ведь и он сам, Александр, был в заговоре. Не ждет ли его справедливое возмездие? И он улыбался приветливо всем, окружавшим его, и становился мрачным, как только ему приходилось остаться одному. Князь Адам Чарторижский и другие, имевшие доступ к его закулисной жизни, свидетельствуют, как они часто видели удивительную перемену в государе: веселая улыбка его таила жуткую угрюмость и ласковость слов скрывала ненависть и презрение.

В чем Александр мог найти оправдание своей жизни? Где он мог искать смысла тех противоречий, к каким он сам пришел? Филантропические идеи его воспитателей решительно ничего не объясняли. Все это было очень отвлеченно и добродетельно, но Александр чувствовал, что надо что-нибудь посерьезней.

Бритый протоиерей так же мало, как и Лагарп, приблизил его к истине. К религии в те годы Александр был равнодушен. О народной церкви он не имел никакого понятия, и подвижники, ушедшие в глухие леса и далекие пустыни, были ему неизвестны. Зато он познакомился с заседавшими в Синоде архиереями, и едва ли эта официальная и внешняя церковь могла ему внушить к себе уважение. В начале XIX века положение духовенства было унижительное. Священники были совершенно бесправны. 22 мая 1801 года Александр издал манифест об освобождении священников и диаконов от телесного наказания. Необходимость манифеста показывает, в каких невыносимых условиях жило тогда духовенство. Судьи то и дело приговаривали пастырей к наказанию кнутом на площадях. Легко представить себе, как мало авторитетны были несчастные попы в глазах населения.

Сметы на содержание академий, семинарий и духовных училищ были ничтожны. Бытовые условия учащихся воистину ужасны. Однако в научном отношении тогдашние духовные учебные заведения не всегда были плохи, а суровый до жестокости режим закалял характеры. Из духовных училищ вышли и Сперанский, и Филарет московский, и другие примечательные люди.

В начале царствования Александра председателем синодской коллегии был митрополит Амвросий, любимец Екатерины. Царице и ее вельможам пришелся по вкусу этот епископ, умевший пышно и широко пожить. Он прославился нарядностью богослужения и веселыми пирами на архиерейской даче. Он был большой поклонник искусства и собрал значительную коллекцию картин.

А кто окружал этого светского архипастыря? Большинство епископов было бессловесно, иногда буквально: например, Варлаам грузинский, не знавший русского языка, сидел в Синоде, как *"безмолвная кукла"*, и подписывал все, не читая; духовник государя протопресвитер Петрович, по словам обер-прокурора Яковлева, был *"добрый и глупый человек, чрезмерно преданный Бахусу"*; Павел Озерецковский, *"обер-священник армии и флота"*, отличался невыгодной для него репутацией корыстного, наглого и лукавого попа; Ириной, архиепископ псковский, замечательный ученый, знаток греческого языка, переводчик и комментатор Григория Назианзина и других столпов христианской мысли, совершенно не интересовался общественными делами и в часы досуга от ученых занятий склонен был служить богу совсем нехристианскому, т. е. тому же Вакху, каковым увлекался и духовник царя; архиепископ ярославский Павел, человек очень умный и образованный, тратил свои способности на разные интриги и был зол, мстителен и корыстен.

Сам обер-прокурор Яковлев, давший такие нелестные характеристики епископам, был назначен Александром по рекомендации Новосильцева. Этот Яковлев оказался типичным бюрократом и формалистом. Он называл себя *"единственным честным человеком среди сонма грабителей и разбойников"*. Но этот *"честный человек"* не мог, конечно, по-настоящему содействовать нравственному обновлению иерархии. Ее ложное и фальшивое положение по отношению к государству, с Петра I утвердившееся, было коренным злом. И в самом деле, если не церковь, то церковное управление у нас было тогда в явном параличе.

Немудрено, что Александр в смутных исканиях цельного мировоззрения года через два после восшествия на престол заинтересовался масонством, не пытаясь даже вникнуть в опыт и учение православной церкви. В 1803 году молодого императора посетил известнейший масон Бебер. Он изложил Александру сущность масонского учения и просил об отмене запрещения, наложенного на ложи. Кажется, Александр, соблазненный своим искусным собеседником, не только дал свое согласие на открытие лож, но и сам пожелал быть посвященным в масоны. Был или не был Александр вольным каменщиком, но несомненно, что масоны видели в нем в первые годы его царствования своего человека, о чем свидетельствуют многочисленные масонские канты, сочиненные в честь русского императора. Его воспевали за то, что *"он - блага подданных рачитель, он - царь и вместе человек"*. Его портреты стояли в ложах на почетных местах. Одна из литовских лож в своей переписке упоминает об Александре как о своем сочлене. По-видимому, ближайшие друзья Александра также были масонами. Отец Строганов, например, был очень известный масон высоких степеней, и естественно предположить, что его сын был в кругу тех же идей и понятий. Адам Чарторижский в своих мемуарах намекает, что весь Негласный Комитет состоял из масонов. Возможно, что был масоном и князь А. П. Голицын, судя по характеру его первоначальной деятельности в Синоде, обер-прокурором коего он был назначен Александром. Впоследствии

Голицын, кажется, удалился от масонов, найдя успокоение в своеобразном мистицизме и пизтизме, характерном для первой четверти XIX века. Маленький князь, наперсник юного Александра, баловень прекрасного пола в роли обер-прокурора Святейшего

синода - зрелище, конечно, весьма любопытное, Назначить такого человека на подобный пост можно было при полном равнодушии к судьбам церкви. Александр не мог даже предвидеть, что его веселый собеседник заинтересуется когда-нибудь темой религии. Правда, быть может, было бы лучше, если бы этот эротоман так и оставался игривым бесстыдником и не совал носа в чуждую ему область, но, видно, таков был фатум истории. В октябре 1803 года, по крайней мере, Голицын не имел никакого представления ни о православии, ни о христианстве, зато он был вежлив и благожелателен не в пример своему предшественнику Яковлеву.

Александр в первые годы его царствования смотрел на религиозные исповедания как на одну из форм просвещения народных масс. До существования религии ему не было дела, но он хотел использовать священников для распространения в народе некоторых знаний и для утверждения кое-каких нравственных начал. Вот почему лютеранские пасторы и католические ксендзы, как люди светски образованные, пользовались в глазах Александра большими правами на уважение, чем наше православное духовенство. Польские ксендзы и остзейские пастыри легко добились тогда таких привилегий, о коих не смели и мечтать русские священники.

Эти же соображения о необходимости *"просвещения"* понудили Александра благосклонно относиться к иезуитам, которые уверили императора, что они совершенно бескорыстно готовы насаждать западную цивилизацию в варварской России. Не все ли равно в конце концов, какой катехизис будут зубрить подростки? Во всех вероисповеданиях немало суеверий, но в каждом есть доля истины. Иезуиты, по крайней мере, в своих пансионах хорошо преподают языки, математику, историю. Впрочем, они были мастера на все руки. Любимец покойного Павла Петровича патер Грубер чуть было не добился *"соединения церквей"* по приказу сумасшедшего царя. Патер Грубер убедил венценосца в необходимости этого акта. Он повлиял на Павла не только своей диалектикой, В этом маленьком человечке, с огромной заостренной кверху головой, с глазами, всегда скромно опущенными, но умеющими, однако, все видеть, таились великие таланты. Это он вылечил невыносимую зубную боль императрицы Марии Федоровны. Это он собственноручно приготовил для императора шоколад, который восхитил монарха. Натурально, что после этого можно было рассчитывать на царский приказ о присоединении всех православных к папизму.

Патер Грубер был влиятельнейшим человеком при дворе, и сам первый консул Бонапарте, заискивая, писал письма к этому иезуиту. Генерал-якобинец очень хорошо знал, что патер не побрезгует союзом с ним, ибо *"все средства хороши для цели доброй"*.

Ученики Лойолы нисколько не растерялись, когда был убит Павел. Они знали, что Александр может быть им полезен. Об этом свидетельствует письмо патера Грубера к новому императору, посланное тотчас же после восшествия его на престол. Почва была подготовлена. Светские барыни вербовались ловкими патерами без особого труда, а через эти аристократические будуары можно было проникнуть и в салоны, влиявшие на вельмож, министров и самого императора. Сама М. А. Нарышкина, урожденная Четвертинская, пленившая своей красотой государя, была духовной дочерью одного из иезуитов. Бутурлина, Голицына, Толстая, Ростопчина, Шувалова, Гагарина, Куракина

охотно пускали в ход свое влияние, чтобы угодить ревнителям ордена. Огромные суммы сосредоточены были в руках иезуитов. Они властно распоряжались не только в Западном крае, но и на всем протяжении империи. Само католическое духовенство страшилось быть в немилости у этих привилегированных монахов. И строптивые католики, не подчинившиеся приказам ордена, по иезуитским проискам нередко попадали в ссылку и даже в заточение.

Итак, Александр ко всем относился благожелательно и как будто у всех искал поддержки своим планам, но никто ему не оказывал помощи и каждый преследовал свои цели, не считаясь вовсе с мечтой молодого императора об *"общем благе"*. Иногда Александру казалось, что он безнадежно одинок, что он как будто в пустыне и кругом него миражи и призраки. И то, что сам он - самодержец всероссийский, не сон ли? И тогда он мысленно повторял ту фразу, которая сорвалась у него с языка во время коронации: *"Когда показывают фантом, не следует делать это слишком долго, потому что он может лопнуть"*.

VIII

Александр был мнителен. Его напрасная подозрительность поражала многих. Но трон русского императора был высок, и трудно было подниматься по этим ступенькам, скользким от пролитой крови... Надо удивляться не тому, что Александр был мнителен, а тому, что он, среди всех безумных и фантастических событий эпохи, еще сохранил какое-то душевное равновесие, не сошел с ума, как его несчастный отец. Александру постоянно приходилось убеждаться в лицемерии и предательстве его верноподданных. Немудрено, что он перестал верить и тем, кому надлежало верить. В первые дни царствования он был растроган и взволнован патетическим письмом некоего В. Н. Каразина, который ждал от нового императора подвигов человеколюбия. Царь обнимал его, умиляясь. И что же? Впоследствии он узнал, что этот обласканный им гражданин, который казался ему полезным ревнителем просвещения, хвастается интимными письмами царя. Тщетно Каразин клялся, что он никому не сообщал императорских писем. Александр не догадался, что письма были перлюстрированы, его же собственной полицией и сделались всеобщим достоянием вовсе не по вине несчастного Каразина.

Подобных недоразумений было немало. Однажды Александру сообщили, что отравился известный Радищев, автор "Путешествия", тот самый Радищев, которого он милостиво вызвал из деревни и которому он предложил работать в комиссии по составлению законов. В чем дело? Чем же недоволен этот строптивый человек? В беседах с председателем комиссии графом Завадовским старый вольнодумец, не стесняясь, развивал свои мысли о необходимости крестьянской эмансипации и прочих вожделенных реформ. На его восторженные речи многоопытный Завадовский сказал: *"Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему. Или мало тебе Сибири?"* Только тогда Радищев что-то сообразил, и последствием этих новых его мыслей было душевное смятение, которое понудило его утром 11 сентября 1802 года

выпить стакан яда. Лейб-медик Вилье, присланный к самоубийце императором, тщетно пытался спасти ему жизнь.

Радищев! Каразин! Глупые! Они не понимают, что Александр и сам бы хотел как можно скорее уничтожить рабство, обеспечить конституционный порядок и самому уйти от этого ненавистного трона, но как это сделать? Разве он, государь, не делал попыток ускорить проведение в жизнь реформ?

В 1804 году Александр снова возбудил вопрос о конституции. Новосильцев вызвал из Лифляндии какого-то барона Розенкампа и поручил этому изумленному и растерявшемуся барону сочинить как можно скорее конституцию. Проект был написан и разработан Новосильцевым и Чарторижским. Однако этот гомункулус так и остался в реторте. Александр заинтересовался другим человеком.

Этот новый человек, которому надлежало спасти Россию, был М. М. Сперанский, служивший в генерал-прокурорской канцелярии и получивший потом пост статс-секретаря. Он поразил воображение Александра новизной своих воззрений и самим способом своего мышления. Этот тридцатилетний человек, с лицом молочной белизны, с глазами, как у *"издыхающего теленка"*, по выражению одной мемуаристки, гипнотизировал императора своим тихим протяжным голосом. Когда он подавал царю белыми властными руками объемистые рукописи, монотонно и внушительно излагая их содержание, Александр верил, что этот Сперанский - тот самый человек, коему суждено, наконец, воплотить в жизнь идеальную государственную программу, предначертанную им, Александром.

Как хорошо, что Сперанский не похож на екатерининских сановников. Александру надоели эти вельможи с их ленивыми и скептическими улыбками, с их почтительной фамильярностью завсегдаев дворцов. И в молодых своих друзьях Александр чувствовал ту же барственную небрежность, уместную в салонах, но вредную в государственных делах. Для реформ нужен был человек трезвый и деловой - не барич, не избалованный царедворец, не влюбленный в себя аристократ...

Александру нравилось то, что Сперанский семинарист. Про него рассказывали анекдот, будто он, будучи еще студентом, когда его пригласили по рекомендации митрополита Гавриила в качестве учителя князя А. Б. Куракина, совсем растерялся и не знал, как себя держать; когда за ним прислали четырехместную карету с гербами, запряженную цугом, лакеи будто бы с трудом усадили его в карету, так как он, не решаясь в нее сесть, пытался стать на запятки.

Но этот невоспитанный семинарист очень скоро перестал смущаться. Он женился на англичанке и завел у себя в доме английский порядок жизни. Вельможи смеялись над его клячей с обрезанным хвостом, на коей он ежедневно совершал прогулку в своем неизменном английском сюртуке, но смеяться приходилось втихомолку, ибо этот попович и демократ был горд и сумел поставить себя в положение независимое, и приходилось заискивать у этого плебея, тайно его презирая.

В 1803 году Сперанский подал Александру записку о государственной реформе. Что же рекомендовал царю этот демократ? Оказывается, он не посмел приступить к решительному ограничению автократии. Получился заколдованный круг: конституция немыслима при крепостном праве, а освобождение крестьян нельзя осуществить при самодержавном порядке. Сперанский предлагал, сохраняя временно абсолютные прерогативы монарха, создать такую систему учреждений, которая подготовила бы умы к будущей возможной реформе.

Александра пугала иногда горделивая уверенность этого умнейшего и даровитейшего бюрократа, который полагал, что новые учреждения могут породить новых людей. Для Сперанского в первые годы его государственной деятельности личность сама по себе ничего не стоила. О ней судить он мог лишь постольку, поскольку она вмещалась в тот или другой параграф государственного кодекса.

Несмотря на свои англоманские замашки в быту, Сперанский в своих государственных планах вовсе не следовал идейным традициям Великобритании. Органическое развитие английской конституции было непонятно его большому, но семинарскому уму. В его молодые годы он покорно следовал отвлеченному рационализму французских правоведов и доктринеров. Он был поклонником сначала республиканской конституции Франции, а позднее кодекса Наполеона. Не надо забывать также, что он был масоном. Это окружало его в глазах Александра заманчивым ореолом. Тогда еще они оба верили в универсальное благо, приуготовленное человечеству тайными обществами. Станный, сухой и холодный мистицизм таился тогда в глубине их сердец, несмотря на всю рассудочную отвлеченность их идей о государстве, - народе и власти. Им обоим пришлось впоследствии разочароваться в мнимой истине масонства. Но тогда еще дни были масонами.

Горделивая холодность Сперанского внушала иным подозрение, что этот бездушный человек во власти демонических сил. Один мемуарист уверяет даже, что при общении со Сперанским он всегда обонял запах серы и в глазах его видел страшный синеватый огонек подземного мира. Но Александр не чувствовал серного запаха, беседуя с "гражданином" Сперанским. Император всегда мысленно называл его гражданином. Это выражение, знаменующее республиканские вольности, ласкало слух русского самодержца. Он завидовал графу Строганову, который имел дело с парижскими ситуациями якобинской эпохи. Он был не прочь и сейчас увидеть такого парижанина во всей его республиканской красе.

Несмотря на то, что в это время в Париже распоряжался всем Бонапарте, император считал Францию республикой. Поэтому, когда первый консул, обеспокоенный смертью Павла и возобновлением наших мирных отношений с Англией, послал к нам своего доверенного, адъютанта Дюрока, Александр ждал его с нетерпением. Наконец он увидит живого республиканца. Дюрок приехал. Император старался обворожить француза своей любезностью. Между прочим, он все время, думая сделать ему приятное, именовал его ситуайеном. Каково же было удивление императора, когда Дюрок довольно сухо заметил, что теперь в Париже не принято называть друг друга гражданами.

IX

В 1801 году в Париже вокруг первого консула Бонапарте собрались люди, которые не очень ценили якобинский жаргон. Александр худо еще разбирался во французских делах. Что там происходило? Он верил, что Бонапарте - бескорыстный "сын революции" и что он самоотверженно "спасает Францию". Он знал, что Бонапарте защищал Конвент с оружием в руках, но он не знал, что того же 12 вандемьера, за пять часов до своего республиканского подвига, он говорил с присутщим ему самоуверенным цинизмом: *"Если бы секции поставили меня во главе, даю слово, через два часа мы были бы в Тюильри и прогнали бы всю сволочь Конвента"*.

Впрочем, дерзкий кондотьер вскоре открыл свои карты. Весной 1802 года Александр уже не сомневался, что Бонапарте стремится к неограниченной власти. Александр понял также, что тирания корсиканца угрожает всей Европе.

"Завеса упала, - пишет он Лагарпу, - Бонапарте сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный и которую ему оставалось стяжать, - славы доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества и, пребывая верным конституции, коей он сам присягал, сложить через десять лет власть, которая была в его руках. Вместо того он предпочел подражать дворянам, нарушив вместе с тем конституцию своей страны. Отныне это знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории".

Однако Бонапарте многим внушил уверенность, что он вовсе не тиран, а воплощенная и торжествующая революция. По его приказу отряд гренадер арестовал на территории баденских владений последнего потомка Кондэ, герцога Энгиенского. Тогда же, в марте 1804 года, герцог был расстрелян в Венсенском замке. Этот факт был принят так называемым общественным мнением Европы, как вызов тирана всем ревнителям законного порядка. Александр послал в Париж протестующую ноту, которая и была вручена нашим поверенным Талейрану. Русский кабинет очень скоро получил ответную ноту, в коей было сказано, между прочим, что напрасно Россия вмешивается во внутренние дела Франции. Автор ноты обращает внимание русского правительства на то, что Франция не вмешивалась в русские дела, когда по проискам Англии был убит император Павел и убийцы остались безнаказанными. Этого страшного намека Александр никогда не мог простить Бонапарте.

5 мая из России был отозван французский посол, а на другой день Франция была объявлена империей. Генерал Бонапарте превратился в императора Наполеона.

Теперь Александру казались не столь важными внутренние дела России. Он не чувствовал никакой связи с многомиллионной мужицкой страной, которую он не знал вовсе. Питомец иностранцев и едва ли русский по крови, он не был равнодушен к судьбе крепостных крестьян лишь в качестве вольнодумца и сентиментального поклонника Руссо, но это отвлеченное сочувствие для него было "идеологией", а не вопросом жизни и смерти.

Иное дело - император Наполеон. Здесь ставилась мировая тема. Размеры грядущих событий соблазняли и императора Александра. Он мечтал о той роли, какую придется ему играть в Европе. Цветущие берега Рейна теперь не могли уже быть мирным убежищем для Александра Павловича Романова и его супруги Елизаветы Алексеевны. Но зато германский пейзаж казался Александру более подходящей и красивой декорацией для готовящейся трагедии, чем унылые поля и холмы чуждой ему России. Ему было памятно кроме того свидание с прусской королевской четой. Улыбки королевы Луизы, поощрявшей его рыцарское самолюбие, лесть германских дипломатов, подстрекательство Адама Чарторижского, мечтавшего о том, что кампания против Наполеона может привести к восстановлению Польши в границах 1772 г. (с потерей для России Волыни и Подолии), - все это волновало молодого государя и неудержимо влекло к созданию коалиции против Наполеона.

Впрочем, были, конечно, более глубокие и объективные причины для этой подготавливавшейся войны. Сам Александр был игрушкой огромных стихийных сил, обреченных на роковое столкновение. Но он не замечал тогда этих сил и жил иллюзией, что он сам, своей волей, определяет ход исторических событий.

При всем том гатчинские традиции еще были живы в душе Александра, Фридрих Великий был все еще в его глазах идеалом монарха, германская культура внушала к себе уважение... В последний день свидания Александра и Фридриха-Вильгельма в Потсдаме, после затянувшегося ужина, русский император предложил спуститься в склеп, где покоились останки Фридриха Великого.

Король и королева охотно согласились. Свиты с ними не было. Они втроем стояли у гроба коронованного вольтерьянца и масона. Александр коснулся губами гробовой крышки этого гатчинского кумира. В присутствии королевы Луизы император и король поклялись над гробницей в вечной дружбе. При свете колеблющихся свечей Александр увидел устремленный на него влюбленный взор прелестной Луизы.

А в это время Наполеон, чуждый всякого романтизма, разбив и пленив австрийскую армию генерала Макка, шел неудержимо и победоносно к Вене. Столица Австрии пала. Дунайский мост был в руках Наполеона.

Кутузов, негодуя на австрийцев, вводил свою армию на соединение с войсками графа Буксгевдена. Искусными маневрами Кутузов достиг цели и сосредоточил под Ольмюцем около восьмидесяти тысяч человек. Когда Александр, растроганный сценой у потсдамской гробницы и воодушевленный на борьбу с Наполеоном, который казался ему врагом свободы и цивилизации, появился среди кутузовских войск, наши ветераны встретили молодого государя холодным молчанием. И немудрено - кампания не была популярна; австрийское интендантство не давало ни провианта, ни сапог; люди были измучены сложными переходами, и упорно распространялись слухи об измене австрийцев.

Александр был поражен духом вражды и недоверия, с которыми он встретился впервые. Как? Еще недавно его приветствовали восторженно. Еще недавно толпа была готова

распрячь лошадей и сама хотела везти его, императора Александра. Теперь эти люди молчат угрюмо!

И ему, Александру, не нравится этот Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов. У него такое же выражение лица, как у этих солдат, которые не доверяют почему-то своему императору. И этот Кутузов всегда как будто хитро подмигивает. В чем дело? Ах, да он был ранен под Алуштою и окривел. Кажется, он был раньше еще при осаде Очакова в 1788 году. Он, Александр, конечно, не сомневается в личной храбрости этого генерала. Еще Суворов острил: *"При штурме Измаила Кутузов шел у меня на левом крыле, но был моей правой рукой"*. Но все эти екатерининские герои не понимают, что военная наука подвинулась вперед. Теперь нужны такие стратеги, как этот австриец Вейротер. Пусть в угоду русским патриотам остается старик в качестве главнокомандующего на своем почетном посту, но он, Александр, сам вместе с Вейротером будет руководить военными действиями. Кутузов почему-то медлит и склонен отступить, но пора поставить преграду зазнавшемуся Бонапарту.

16 ноября впервые Александр был в огне. Это была авангардная стычка у Вишау, успешная для нас. Император скакал вместе с наступавшими колоннами, прислушиваясь к свисту пуль. Потом он задержал коня и, когда пальба стихла, мрачно и безмолвно ездил по полю, рассматривая мертвых в лорнет и тяжело вздыхая. В этот день он ничего не ел.

За несколько дней до Аустерлицкого сражения Бонапарт послал к Александру генерала Савари, который должен был уверить русского императора, что Наполеон желает мира. Александр в свою очередь послал к Бонапарту князя П. П. Долгорукова. Наполеон выехал к нему на передовые посты и, грубовато перебивая парламентаря, сказал: *"Долго ли нам воевать? Чего хотят от меня? Из-за чего воюет со мной император Александр? Чего ему надо? Пусть он расширяет пределы России за счет турок"*. Юный Долгоруков дал понять Бонапарту, что русский император не жаждет завоеваний. Дело идет, напротив, о справедливости и о свободе наций. Наполеону показалось смешным, что молодой человек резонерствует и как будто чему-то учит его. Через три дня после Аустерлицкой битвы Наполеон писал курфюрсту Вюртембергскому, что Александр присылал к нему для переговоров какого-то дерзкого ветрогона, который разговаривал с ним, как будто он. Наполеон, боярин, которого можно сослать в Сибирь.

Таких ветрогонов и повес было немало вокруг Александра. Они вмешивались в стратегические планы и мечтали делить славу с немецкими и австрийскими военными педантами, которые сочиняли диспозиции, не обращая внимания на главнокомандующего. Кутузов на все махнул рукой. Не было единства плана. Командиры не были своевременно извещены об утвержденной диспозиции. На рассвете 20 ноября, объезжая войска вместе с Кутузовым, Александр обратил внимание на то, что в некоторых частях у солдат не были даже заряжены ружья. Солдаты грелись у костров, не подозревая, что бой уже начинается.

- Ну, что, как вы полагаете, дело пойдет хорошо? - спросил Александр у Кутузова перед началом сражения.

Хитрый старик ответил, улыбаясь:

- Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества!

Александр нахмурился и пробормотал:

- Нет, вы командуете здесь, а я только зритель.

Кутузов покорно склонил голову. Он нисколько не скрывал, что не верит в успех баталии, и, вопреки диспозиции, всеми силами старался удержать войска на Праценских высотах, выгоды коих оценил Наполеон и совершенно не понял Вейротер, погубивший своим планом русскую армию. Впоследствии, вспоминая об Аустерлицком сражении, Александр говорил:

"Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надо было действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее".

Бой под Аустерлицом продолжался недолго. Часа через полтора после первых встреч с неприятелем союзные войска поколебались. Покинутые русскими Праценские высоты оказались в руках французов, и это было началом конца, как и предвидел Кутузов.

По смущенным и растерянными лицам господ свиты Александр догадался, что сражение проиграно. Следуя за четвертой колонной, он попал под неприятельский огонь. В нескольких шагах от него была ранена картечью лошадь лейб-медика Вилье. Свист холодного ноябрьского ветра смешивался со свистом пуль. Мимо императора бежали батальоны, повернув спины к неприятелю. Александр оглянулся - свита рассеялась. За ним только ехал, переменяв лошадь, Вилье и берейтор Ене. Император остановился и тотчас же был весь осыпан землей. Это упало рядом неприятельское ядро. Вперед уже нельзя было ехать. Беспорядочная толпа беглецов увлекала государя, и он очутился на опустевшем поле, покрытом трупами. Темнело, и лошадь несколько раз наступала на мертвецов. Неожиданно ров перерезал дорогу, и Александр, плохой ездок, никак не решался перескочить его, по примеру берейтора. Наконец Ене ударил лошадь Александра, и они очутились по ту сторону рва.

Александр вспомнил почему-то, как он мечтал вместе с тогда еще милой сердцу Елизаветой поселиться в тихом домике на берегу Рейна. Теперь перед ним торчало голое дерево, похожее во мраке на виселицу. Император слез с лошади, сел на землю и закрыл лицо руками.

Х

Последствиями Аустерлицкого погрома был, как известно, унижительный для Австрии Пресбургский мир, договор Пруссии с Наполеоном и отступление русских войск к нашим границам. Александр не мог примириться с таким положением, умаляющим великодержавие России. По его плану, помимо рекрутов, было создано ополчение,

состоявшее из шестисот тысяч ратников, причем четыре пятых этого состава не имело ружей вовсе. Несчастных мужиков, оторванных от их семейств и земли, вооружили пиками. И содержание этого бутафорского войска, совершенно бесполезного для войны, легло тяжелым бременем на бюджет страны, обескровленной и разоренной рекрутскими наборами.

Наполеон, еще недавно занимавший воображение Александра как якобинец, теперь казался грубым узурпатором. В соответствии с новым настроением императора Святейший Синод выпустил воззвание к народу, где было, между прочим, сказано относительно Наполеона нечто весьма определенное:

"Всеми миру известны, - писал Синод, - богопротивные его замыслы и деяния, коими он попрал закон и правду. Еще во времена народного возмущения, свирепствовавшего во Франции во время богопротивной революции, бедственной для человечества и навлекшей небесное проклятие на виновников ее, отложился он от христианской веры, на сходбищах народных торжествовал учрежденные лжесвидетельствующими богоотступниками идолопоклоннические празднества и в сонме нечестивых сообщников своих воздавал поклонение, единому всевышнему божеству подобающее, истуканам, человеческим тварям и блудницам, идольским изображением для них служившим..." и т. д. в том же роде. В конце послания Наполеон объявлялся антихристом. *"Отринув мысли о правосудии божием, он мечтает в буйстве своем, с помощью ненавистников имени христианского и способников его нечестия, иудеев, похитить (о чем каждому человеку и помыслить ужасно!), священное имя Мессии: покажите ему, что он - тварь, совестью сожженная и достойная презрения"*.

Перечитывая это послание, Александр краснел и морщился. Лицо его искажалось, как от зубной боли. Он искренно верил, что Наполеон - враг рода человеческого, но почему-то синодское послание ему не нравилось. "Все это надо бы сказать как-нибудь иначе", - думал он. Синод указывает на французскую революцию как на источник зла. Но ведь и он, Александр, восхищался вместе со своими друзьями народным энтузиазмом восставшей Франции. Бурбоны пали не случайно. Их лилии не так уж были невинны, и естественно, что судьба в конце концов наказала привилегированных развратников. Но дело сделано, и для народа синодское послание, пожалуй, будет убедительно.

Это, впрочем, было малоутешительно для самого Александра, который все чаще и чаще изнемогал от внутренних нравственных противоречий. Но каковы бы ни были эти сомнения, надо было действовать и бороться во что бы то ни стало с неутомимым врагом. Надо было убедить Фридриха-Вильгельма порвать с Францией. Это прежде всего. Александр воспользовался влиянием очарованной им Луизы и достиг своей цели. К несчастью, разрыв между Пруссией и Францией произошел раньше, чем рассчитывал Александр. Русская армия не успела придти на помощь Фридриху-Вильгельму, и Наполеон наголову разбил пруссаков при Иене. Вся Пруссия была занята французами, и королевская чета приютилась в Мемеле, почти на границе России.

Александра преследовали несчастья. Русские войска были двинуты в Польшу под начальством фельдмаршала Каменского. Этот старый генерал, по-видимому, сошел с ума, и его безумные приказы едва не погубили нашей армии. Впрочем, отставка

полоумного генерала только отсрочила наше поражение. Правда, Бенигсену с честью удалось выдержать битву с Наполеоном под Прейсиш-Эйлау, но спустя пять месяцев французская армия разбила русских под Фридландом.

Александр ни в ком не видел поддержки. Его брат Константин, неумолимый служака гатчинской кордегардии, оказался большим трусом на войне, так же, как и грозный Аракчеев. Константин Павлович писал Александру после фридландской неудачи: *"Государь! если вы не хотите заключить мира с Францией, ну что же? Дайте заряженный пистолет каждому из ваших солдат и скажите им пустить себе пулю в лоб"*.

После драмы Фридланда состоялась комедия Тильзита. Пришлось заключить мир с Наполеоном. Победитель не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы продолжать войну. Бонапарт купил свои победы дорогой ценой и охотно шел навстречу Александру в деле заключения мира. Знаменитое свидание императоров на Немане было в самом деле огромным событием, ибо тогда, в Тильзите, на плоту встретились представители двух не только различных, но и прямо противоположных культур.

Наполеон сделал все, чтобы тильзитский спектакль был наряден. Мемуаристы, а вслед за ними историки, обстоятельно рассказывают, как был *"прелестен"* Александр *"в скромной, немного тяжелой форме Преображенского полка, в черном мундире с красными лацканами, обшитыми золотом, белых рейтузах, при шарфе, в большой треуголке, украшенной белыми и черными перьями"*. Так же подробно описаны рейтузы и треуголка Наполеона и то, как обнялись императоры, входя в шатер на плоту, где они оставались почти два часа наедине, уверенные, что они решают судьбы мира. Эти императоры, кажется, не очень сознавали тогда, что они, актеры мировой комедии, играют роли, не ими сочиненные. Им казалось, что от них зависит повернуть колесо истории в ту или другую сторону.

Александр и Наполеон хитрили тогда друг с другом и со старой бабушкой историей, чей голос полувнятный им подсказывал кое-что, и наконец, они хитрили каждый сам с собою. Наполеон писал Жозефине из Тильзита о своем новом "друге" Александре: *"Это - молодой, чрезвычайно добрый император. Он гораздо умнее, чем о нем думают"*. Впоследствии, убедившись в дипломатических талантах Александра, Наполеон называл его *"северным Тальма"* и *"византийским греком"*.

В то время как императоры, расположившись в шатре, уверяли друг друга, что они "братья" и что они братским усилием обеспечат благоденствие всего мира, другой друг Александра - Фридрих-Вильгельм, не приглашенный Наполеоном, с горечью вспоминал о потсдамской клятве на гробнице Фридриха Великого. Несчастный прусский король ездил верхом по берегу Немана и даже в рассеянности чуть было не утонул, пустив в воду своего коня.

Надо отдать справедливость Александру, что он очень хлопотал перед Наполеоном о потсдамском друге, утратившем свое королевство. Наполеон, однако, решительно уклонился от союза с Пруссией. С него было довольно союза с Россией. *"Я часто спал*

вдвоем, - сказал он, - *но никогда втроем*". Всем известно, чем кончилось тильзитское совещание.

Пруссии вернули половину ее владений; было восстановлено великое герцогство Варшавское; Александр согласился на выдуманную Наполеоном континентальную систему, направленную против Англии; Россия и Франция заключили тайный союзный договор...

Северный Тальма, Александр, говорил Савари о Наполеоне: *"Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему, но после беседы, продолжавшейся три четверти часа, оно рассеялось, как сон"*. Французскому дипломату Лессепсу Александр сказал: *"Зачем не повидал я его раньше!.. Повязка спала с глаз, и время заблуждений прошло"*.

Наполеон думал, что он одурачил хитрого "византийца" Александра. Русский император готов был поддерживать до времени иллюзию Наполеона.

17 июня 1807 года Александр писал из Тильзита своему интимному другу, сестре Екатерине Павловне:

"Бог нас спас! Вместо жертв мы выходим из борьбы даже с некоторым блеском. Но что вы скажете об этих событиях? Я провожу целые дни с Бонапартом, часами остаюсь с ним наедине. Согласитесь, что это похоже на сон. Вчера он ушел от меня в полночь. О, как хотел бы я, чтобы вы были незримой свидетельницей того, что здесь происходит".

В самом деле, русский "благочестивейший" самодержец в объятиях "антихриста", в объятиях "твари, достойной презрения", как сказано было в синодском послании, - зрелище удивительное и для современников и для потомства.

Итак, императоры расстались как друзья. Александр вернулся в Петербург, прекрасно сознавая, что там ждут его с недоумением и тревогой. Современникам трудно было понять ту страшную игру, какую вел Александр. Он тогда поставил на карту все - и Россию и свою честь. Ему тогда надо было выиграть время во что бы то ни стало. После фридландского погрома воевать с Наполеоном было невозможно, и Александр, стиснув зубы, терпел душную атмосферу недоверия и разочарования, в которой ему приходилось жить, тая от всех свои конечные замыслы и цели.

А в это время у Наполеона были свои неприятности. Его экспедиция в Португалию и Испанию как будто увенчалась успехом. Он принудил Бурбонов отказаться от своих державных прав и сделал испанским королем своего брата. Но тут произошло нечто неожиданное. Возникла народная война против завоевателей. Борьба со стихией очень трудно, и Наполеон встретил здесь такие препятствия на путях своей воли, о каких он раньше не думал. Испанцы выгнали из Мадрида французов.

Эта неудача Наполеона ободрила Австрию, и она стала готовиться к войне. Надо было вовлечь Россию в политику Франции, понудить Александра к осуществлению тех союзных обязательств, какие были предусмотрены Тильзитским трактатом.

Вот причина эрфуртского свидания.

Александр неохотно ехал на это свидание. Императрица Мария Федоровна не скрывала своих опасений. От вероломства Бонапарта можно было всего ожидать. Она боялась, что повторится байонское событие, и Александра постигнет участь испанских Бурбонов. Но в Эрфурте произошло не совсем то, что в Байоне.

Прошло около года со времени тильзитского свидания. Теперь в лице Александра Наполеон встретил человека менее податливого, чем в дни взаимных нежных объяснений. Россия успела оправиться после неудачных походов, а Франция была несколько ослаблена неожиданным сопротивлением Испании.

Наполеон встретил своего союзника торжественно и пышно. Повсюду гремела музыка. Лучшие парижские актеры играли на эрфуртской сцене Корнеля, Расина и Вольтера. Блестящая свита Наполеона, казалось, отдала себя в распоряжение северного монарха. Но Александр был осторожен и сдержан. Однажды Наполеон сказал Коленкуру: *"Ваш император упрям, как мул: он глух ко всему, чего он не хочет слышать"*.

Переговоры свелись к одному требованию Наполеона: Александр совместно с ним должен воздействовать на Австрию, понудив ее разоружиться. Александр на это не соглашался. Наполеон чувствовал, что русский император ускользает от его влияния.

Однажды с Бонапартом случился припадок ярости. Это был один из тех приступов холодного бешенства, которые у него бывали иногда. В таких случаях он мог изуродовать человека, как это было, например, с сенатором Вольнеем, который осмелился сказать, что *"Франция хочет Бурбонов"*, за что и получил от Бонапарта удар ногой в живот, или с Бертье, коего, прижав к стене, он бил кулаком по лицу за какой-то неудачный комплимент. На этот раз ярость Бонапарта выразилась в том, что он швырнул на пол свою треуголку и долго топтал ее ногами, задыхаясь от злобы.

Александр смотрел, улыбаясь, на эту сцену и, помолчав, сказал спокойно: *"Вы слишком страстны, а я настойчив: гневом со мною ничего не поделаешь. Будем беседовать и рассуждать или я удалюсь"*. Наполеону пришлось удерживать своего хладнокровного собеседника, который поднялся, чтобы покинуть обозлившегося корсиканца. Изменить тон и опять быть любезным Наполеону ничего не стоило: у него эти переходы делались быстро и безболезненно.

Комедия Эрфурта так же, как и Тильзита, заключала в себе интригу, искусно построенную на обмане. Кто же кого обманывал? Вероятно, лгали оба - и Наполеон, и Александр. Во всяком случае, русский император не поверил в искренность Бонапарта, несмотря на все его обольщения. Но Александр понимал, что ему не скоро еще представится случай открыть свои карты. Ему приходилось играть роль искреннего

союзника Наполеона, возбуждая негодование и недоумение русских патриотов, которым никак нельзя было открыть истинный смысл его дипломатии.

Александр взял на себя тяжелый крест. Он рисковал даже навсегда утратить нравственную связь с теми кругами тогдашнего русского общества, какие были сознательно заинтересованы в развитии и направлении политических событий. Северный Тальма взял на себя трудную роль. В это время у него была только одна конфидентка - сестра Екатерина Павловна. И ей он писал тогда: *"Бонапарт воображает, что я просто глупец. Но смеется хорошо тот, кто смеется последний"*.

Этих интимных писем не знали русские политики. И все сочувственно смеялись, когда С. Р. Воронцов рекомендовал тем, кто подписал - по воле императора - Тильзитский договор, совершить въезд в столицу на ослах. В Москве и в Петербурге любимыми пьесами публики сделались патриотические трагедии Озерова и комедии Крылова. Общественное мнение было против Александра. Особенно буйно негодовали патриоты вроде Г. Р. Державина, А. С. Шишкова или С. И. Глинки, с его журналом "Русский Вестник". Во главе оппозиции стала мать-императрица. Это не было секретом от Наполеона, и Александру приходилось успокаивать французского посла.

Недовольство политикой Александра проникло даже в широкие массы. Все чувствовали себя оскорбленными в своем национальном достоинстве. Ведь им еще недавно попы читали с амвонов послания, где Наполеон именовался злодеем и антихристом, а теперь русский царь называет его своим братом. Граф Стединг доносил королю Густаву IV: *"Неудовольствие против императора более и более возрастает, и на этот счет говорят такие вещи, что страшно слушать"*. Сам Александр вынужден был заявить Савари, что хотя ему лично угрожает опасность, но он остается непоколебим в своей иностранной политике. *"Пусть торопятся те, кто имеет в виду отправить меня на тот свет, - сказал он, - но только они напрасно воображают, что они меня могут принудить к уступчивости или обесславить"*.

Герцен называл Александра *"коронованным Гамлетом"*. Это справедливо, если иметь в виду те нравственные и духовные колебания, которые были ему свойственны. Но в реальной политике Александр проявлял нередко твердость, совсем несвойственную принцу датскому.

XI

Наш посол в Париже князь Куракин подкупил чиновника министерства иностранных дел и приобрел один секретный документ большой важности. Это было донесение Дюрока, где он, развивая свои мысли о политике Франции, указывает Наполеону на хитрые замыслы Александра. По словам Дюрока, Эрфуртское соглашение было выгодно только одной России. Еще в Тильзите Наполеон сказал русскому императору, что надо сделать так, чтобы *"петербургских красавиц не пугали залпы шведских пушек"*. Это означало на

языке Бонапарта: "Я ничего не имею против того, чтобы Россия завладела Финляндией". Александр, как известно, воспользовался этим практическим советом.

Но этого мало. В то время как соотечественники считали Тильзитско-Эрфуртское соглашение унижением России, французские патриоты понимали это дело совсем иначе. В своей записке Дюрок писал: *"Император Александр в Эрфурте, достигнув удаления от своей границы французских войск, занимавших прусские области, получил возможность усилить армию, действующую против Оттоманской порты. Он господствует в Сербии, не послав туда ни одного человека... Уже северная часть Турции под властью русских (sous le canon des russes); Греция подчинена их политике и связана с ними единством веры; владычество французов в Далмации ненадежно; еще шаг, и Италия в опасности. Российский колосс подвигается к югу, грозя исторгнуть у Франции господство на Средиземном море, столь важное для ее величия, столь необходимое для благосостояния южных областей ее; в случае потери его оно может быть возвращено только кровавой встречей французских легионов с опасными союзниками на равнинах Адрианополя"*.

У страха глаза велики, и "русский колосс" напрасно пугал воображение французского дипломата. У Александра в это время не было таких широких планов, но он сознавал, что рано или поздно придется столкнуться с Наполеоном, и готовился к этой борьбе.

Но ему приходилось думать и о другой опасности. Он понимал, что им утрачено то сочувствие, какое он нашел в России, когда после убийства Павла он, Александр, издал свой либеральный манифест. Надо было заняться внутренними делами, чтобы вернуть себе расположение соотечественников. Он приступил теперь к этому насущному делу без юношеской наивной веры в близкую возможность "общего блага". Он теперь узнал, что значит "реальная политика". Жизнь дала ему суровые уроки.

Если Наполеону не удалось покорить сердце Александра, зато ему без труда удалось пленить тогдашнего эрфуртского спутника императора - Сперанского. Латинский ум Бонапарта поразил душу этого законника, помешанного на строгой системе правовых норм, все собою предопределяющих. Александр не возражал Сперанскому, когда тот расточал перед ним хвалы гениальному Наполеону. В то время еще приходилось таить от всех свое отношение к врагу. Пусть Сперанский восторгается Бонапартом. Можно даже поручить этому умнику все это сложное и нужное дело государственных реформ. Пусть он, подражая кодексу Наполеона, сочинит и для России систему учреждений. У Сперанского в то время было твердое убеждение, впоследствии поколебавшееся, что люди всецело зависят от государственного и социального порядка. Надо, мол, дать стране надлежащее гражданское и государственное устройство, и скверные люди станут хорошими. Вот в этом Александр сильно сомневаются, хотя и дал Сперанскому большие полномочия и предоставил ему все возможности для проведения в жизнь реформ.

Сперанский, как известно, составил план конституции. Она была построена на песке, ибо крепостное право предполагалось еще действующим. Но Александр одобрял этот план. Решено было вводить конституцию не сразу, а постепенно, публикуя частично законы о новых учреждениях. Сперанский успел осуществить только две реформы - создание Государственного совета и учреждение министерств. Но и эта частичная

реформа вызвала негодование ревнителей старого порядка. Их идейным вдохновителем был Карамзин. Александр, читая живописное и патетическое послание "О древней и новой России", поданное ему через сестру Екатерину Павловну, думал, вероятно, о странной своей судьбе. Не он ли мечтал всегда отказаться от власти? И вот ему теперь приходится пользоваться ею самодержавно. Не странно ли это? Он, самодержец, повелевает ограничить самодержавие, и люди, считающие себя поборниками самодержавия, посягают на его верховное право, предуказывая ему то, что они считают наилучшим для России. И у Александра являлось подозрение, что тут есть какая-то страшная ложь и что за фразами о правах "помазанника" таится что-то иное, и, кажется, вовсе не бескорыстное. Александр не сомневался, что сам Карамзин чист, как младенец, но когда он вспоминал, какая жадная стая крепостников радуется тому, что нашелся человек, владеющий пером и нравственно незапятнанный, который стал защищать их прямые интересы, вовсе того не подозревая, у него, Александра, в сердце как будто раскрывалась рана и не хотелось жить.

Надо было выбирать между Карамзиным и Сперанским. Карамзин был уверен, что учреждения сами по себе ничего не значат: все дело в людях. Будут люди в духовном отношении на должной высоте - и государство будет процветать, а будут они коснеть в пороках - тогда их не сделает лучшими никакая республика, даже самая идеальная. Вникая в эти карамзинские мысли, Александр склонен был согласиться с этим мечтателем. Но приходил Сперанский и говорил совсем иное. И Александру казалось, что высокие идеи Лагарпа уже применяются в жизни. Все стройно, справедливо и умно. Никто лучше Михаила Михайловича не может изложить связь между властью и правом. между государством и обществом. Он с удивительным упорством воздвигает грандиозную постройку конституции. Еще никто не знает, что цель этих подготовительных реформ - освобождение нации от деспотического произвола. Александр помнит, как содрогалась Россия, когда правил ею самодержавно Павел. Надо обеспечить ее на будущее время от подобных несчастий. И как бескорыстен этот Сперанский! Он весь поглощен одной идеей. У него нет друзей и нет партии. Он - один. Но Александр вознес его на такую высоту, что ему нечего бояться ни врагов, ни соперников.

Однако это было не совсем так. Александр не замечал, что самодержавие все еще в полной силе и что у гордого Сперанского пока еще нет никаких гарантий, обеспечивающих его этичность от прихоти самодержца всероссийского.

А между тем все сановники, и старые и молодые, ненавидели выскочку-семинариста. Но больше всех его ненавидел Аракчеев. Этот старый гатчинский друг Александра не мог соперничать со Сперанским, ибо сам сознавал свою необразованность, да ему и нечего было противопоставить политическим и государственным планам реформатора. Он только одного не мог вынести - личной близости Александра к Сперанскому. Временщиком должен был быть он один, Аракчеев, и пристрастие Александра к гордецу надо было изничтожить во что бы то ни стало.

Весенний указ 1809 года о придворных званиях, которые, по мнению Сперанского, должны быть обязательно соединены с государственной службой, и осенний указ того

же года об экзаменах для получения некоторых чинов вызвали целую бурю негодования среди придворных и чиновников. Однако тогда свалить Сперанского еще было трудно. 1 января 1810 года был торжественно открыт Государственный Совет - учреждение, казавшееся тогда ретроградам опасным новшеством. Два года после этого события Сперанский продолжал пользоваться доверием Александра и подготовлял проект конституции. Участь его была решена весной 1812 года.

Нашлись люди, которые открыли Александру глаза на личность Сперанского. Напрасно император думает, что этот ревнитель закона в самом деле разделяет планы государя. Сперанский лицемер. Он думает только о собственной славе. Он не хочет даже делиться ни с кем этой славой. Он презирает самого императора. Министр полиции Балашов доносил, что Сперанский в разговоре с ним сказал однажды: *"Вы знаете подозрительный характер государя. Все, что он делает, он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы править, и слишком силен, чтобы быть управляемым"*. Были и другие доносчики. Сперанский стремится к республике. Он мечтает быть диктатором. Он смеется над своим государем. Император не верит. Извольте, ваше величество, посмотреть письмо. В самом деле - рука Сперанского. И в письме сказано, что на западную границу едет для осмотра укреплений *"наш Вобан, наш Воблан (veau blanc)"*.

Участь Сперанского была решена. Впрочем, для его падения было достаточно объективных причин. Со времени эрфуртского свидания прошло более трех лет. Наступил срок испытания. Можно было сбросить маску. Предстояла борьба с Бонапартом.

Сперанский, поклонник Наполеона, был как бельмо на глазу. Нужен был акт, подчеркивающий нашу патриотическую программу. Надо было пожертвовать Сперанским. Наскоро была состряпана легенда об измене Сперанского. Узнали о переписке Сперанского с Нессельроде, в коей корреспонденты пользовались условными выражениями и прозвищами. Талейран именовался "другом Генрихом", Александр - "Луизою"... Это было достаточно.

Сперанский был лично допрошен Александром. Это было похоже на объяснение любовников после измены вероломного. Государь плакал. На другой день Александр говорил князю А. И. Головину: *"Если бы у тебя отсекли руку, ты, наверно, кричал бы и жаловался, что тебе больно: у меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моей правой рукой"*. Тот же Александр впоследствии говорил о Сперанском: *"Он никогда не изменял России, но изменил лично мне"*. Сперанский был уволен и выслан в Пермь.

XII

Александр с юных лет мечтал отказаться от власти и устроить свою жизнь, как частный человек, где-нибудь в тихой долине, а судьба неудержимо влекла его на вершины истории, туда, где свистели бури и откуда можно было видеть огромные пространства. Эта страшная высота не нравилась Александру. На этих высотах кружилась голова.

Подобно неопытному путешественнику по горам, он, забравшись на вершину, вдруг убедился, что подняться иногда легче, чем сойти вниз. Волей-неволей приходилось дышать ледяным альпийским воздухом. На этих высотах почти все примечательные люди эпохи встречались с Александром. И русскому императору приходилось смотреть в глаза таким великим хитрецам, как Меттерних или Талейран, таким завоевателям и баловням славы, как Наполеон, таким искателям тайн, как Юнг Штилинг или госпожа Крюднер, таким женщинам, как госпожа Рекамье, госпожа Сталь, королева Луиза...

Но весь этот пестрый маскарад истории был утомителен, и Александр не раз возвращался к своей мечте - ускользнуть куда-нибудь в неизвестность.

У Наполеона не было частной жизни. Он как будто был создан для высот, для истории, для вселенной. И он вовсе не нуждался в этой частной жизни, в уютной долине. Кондотьеру по призванию противен всякий семейный уют. И к женщине кондотьер относится как к добыче. Не то Александр. Он мечтал о тишине, и женское общество было ему нужно, как нужна пристань утомленному бурями капитану.

"Я не был развратен" (Je n'ai pas été libertin), - сказал он однажды. Очень может быть, что это признание не лживо, хотя строгие моралисты могут указать на факты его биографии, несколько компрометирующие его. И все же по существу он, кажется, в самом деле не был развратен. Сложись удачнее его жизнь, и, быть может, он не искал бы вовсе встреч с красавицами и не спешил бы пленять их сердца, чего достигал он без особого труда, пользуясь чарами, которые были ему свойственны по свидетельству знавших его интимную жизнь.

Но была одна красавица, которая осталась равнодушной к его чарам. Это была его собственная законная жена, прелестная Елизавета Алексеевна. Правда, будучи еще невестой, и она пленилась юным великим князем, но ее романтическая мечта быстро сменилась чувством хотя и нежным, но вовсе не страстным и, главное, лишенным того любовного преклонения, без которого нет счастливого брака. Александр чувствовал это. Сердце его было уязвлено навсегда. Он чувствовал, что какой-нибудь Платон Зубов, ухаживания которого, конечно, оскорбляли юную принцессу, все-таки в ее глазах был более мужчина, чем он, Александр, ее собственный семнадцатилетний муж, еще склонный к отроческим забавам и не сознающий своей ответственности как глава дома.

Когда Александр заметил, что его друг Адам Чарторижский тоже влюблен в Елизавету, он понял, что, сохранит или не сохранит свою супружескую верность его голубоглазая подруга, все равно этот изящный и страстный поляк в ее глазах будет рыцарем. Чарторижскому было тогда двадцать четыре года. У него было романтическое прошлое. Он был образован, писал стихи, успел пожить в Европе. Все это внушало юной великой княгине не только любопытство. Адам Чарторижский был слишком замечен в тогдашней придворной обстановке.

Однако в этот павловский период Александр и Елизавета, кажется, еще поддерживали супружескую близость, и в мае 1799 года великая княгиня родила девочку Марию, которая умерла летом 1800 года. Возможно, что это была дочь Александра. Впрочем, рассказывали, что, когда у Елизаветы родилась девочка и ее показали Павлу, последний

сказал статс-даме Ливен: *"Сударыня, возможно ли, чтобы у мужа блондина и жены блондинки родился черненький младенец?"* На это замечание статс-дама Ливен ответила весьма находчиво: *"Государь! Бог всемогущ"*.

Сердечная рана, которую почувствовал Александр, заметив холодность своей жены, не исцелялась. По-видимому, молодой муж старался утешиться ухаживаниями за хорошенькими дамами, и это еще усилило взаимное охлаждение. В конце концов молодые супруги дали друг другу свободу. Однако Елизавета была не совсем равнодушна к поведению своего мужа. В 1804 году Марья Антоновна Нарышкина, урожденная княжна Четвертинская, красавица и кокетка, пленила молодого императора. Вскоре в одном из писем к матери Елизавета Алексеевна горько жалуется на соперницу, которая на балу нескромно сообщила императрице о своей беременности. *"Какую надо иметь голову, чтобы объявить мне об этом!"* - восклицает она в негодовании. - *Ведь она прекрасно знает, что я понимаю, каким образом она забеременела. Я не знаю, что от этого произойдет и чем все это кончится!"*

А между тем императрица Мария Федоровна говорила однажды про свою невестку: *"Она сама виновата. Она могла бы устранить эту связь и даже сейчас еще могла бы вернуть своего мужа, если бы захотела примениться к нему, а она сердилась на него, когда он приближался, чтобы поцеловать или приласкать ее, она была груба с ним"*.

"Конечно, она очень умна, но недостаток ее в том, что она очень непостоянна и холодна, как лед".

Однако вскоре Елизавета доказала, что она может быть не такой холодной, какой была она со своим мужем. Однажды она обратила внимание на молодого ротмистра кавалергардского полка. Это был некто Алексей Яковлевич Охотников. Появляясь на придворных балах, он не спускал глаз с прелестной Елизаветы. Она приблизила его к себе. В апреле императрица почувствовала признаки беременности. В ноябре у нее родилась вторая дочь Елизавета, которая прожила, как и первая дочь, недолго. Этот ребенок умер весной 1808 года. Отцом этой девочки был ротмистр Охотников.

За месяц, примерно, до рождения этого младенца любовник императрицы при выходе из театра был ранен кинжалом. Убийца, кажется, был подослан великим князем Константином, который был оскорблен невниманием к его чувствам Елизаветы Алексеевны. Недели через три после полученной раны Охотников умер. Елизавета навещала его перед смертью.

По поводу второй дочери молодой императрицы Мария Федоровна говорила одному близкому ей человеку: *"Я никогда не могла понять отношения моего сына к этому ребенку, отсутствия в нем нежности к нему и к его матери. Только после смерти девочки поверил он мне эту тайну, что его жена, признавшись ему в своей беременности, хотела уйти, уехать и т. д. Мой сын поступил с ней с величайшим великодушием"*.

Александр не так уж было трудно простить свою жену. Сам он был всецело поглощен своей любовью к красавице-польке. *"Я не был развратен, - говорил он впоследствии, - хотя я и любил и любил всей душой Нарышкину, в чем я искренно каюсь"*.

Связь с Четвертинской-Нарышкиной, от которой у Александра была дочь, продолжалась четырнадцать лет. Но и эта возлюбленная изменяла ему. Он порвал с ней после того, как застал ее в постели в объятиях своего генерал-адъютанта Ожаровского. Любопытно, что он не отомстил своему сопернику и оскорбителю. Ожаровский после оставался генерал-адъютантом, являлся, как всегда, во дворец и получал соответствующие награды.

Женщины увлекались Александром. Он умел быть с ними интересным и нежным, но, по-видимому, он был человек не очень страстный и не очень был склонен расточать щедро свои чувства.

Когда он гостил в прусском королевском замке, он в течение дня охотно ухаживал за влюбленной в него Луизой, а ночью тщательно запирали все двери в отведенных ему апартаментах, страшаясь что в порыве страсти к нему придет очарованная им королева. Так и в Лондоне в 1814 году он обидел известную красавицу леди Джерси, не оправдав ее любовных надежд. Впрочем, в иных случаях можно предположить в Александре какую-то сладострастную утонченность, и даже в его отношениях к родной сестре Екатерине Павловне было что-то не совсем братское. В одном из писем к ней он вспоминает о каких-то загадочных, ему принадлежавших правах, которые позволяли ему в её спальне целовать как-то особенно нежно ее ножки.

XIII

С израненным сердцем, с больною совестью, без ясного понимания смысла жизни, вовсе не уверенный в своем праве на самодержавную власть и, наконец, с тяжким наследием нашей государственности, Александр изнемогал перед задачами, которые ставила ему неумолимая история. Окруженный придворными интригами, корыстными сановниками и плотной стеной административно-бюрократического порядка, он чувствовал, что Россия, с ее крепостным правом, с ее многомиллионным загадочным мужицким населением, неминуемо должна очень скоро встретиться лицом к лицу с Европой, которую Наполеон двинет на Восток в гордой надежде опрокинуть и раздавить последнего соперника, последнего врага снившейся ему всемирной империи.

Что мог противопоставить наполеоновской идее он, император Александр? Все называли тогда в России смелого корсиканца тираном и врагом свободы. Но Александр понимал, что как-то странно и неловко говорить о свободе в тогдашней России. Это все равно, что в доме повешенного говорить о веревке. В России было рабство. Людей продавали оптом и в розницу. Александр за время своего царствования не смог распутать этого узла, и мертвая петля душила страну. И все же, несмотря на эту страшную язву, Россия казалась Александру единственным оплотом против опасных притязаний Бонапарта. Наполеон мечтал восстановить империю Карла Великого, но

какое содержание мог он вложить в эту грандиозную политическую систему? Поклонники Наполеона уверяли, что он - воплощение революции, что он, усмирив ее бунтующие силы, направил их по главному демократическому руслу, что он будто бы спас от "якобинского безумия" реальное дело революции.

Но Александр сомневался в этом. Правда, теперь нет Бурбонов, но зато есть неслыханный деспотизм самого Бонапарта; нет старых привилегированных, но администрация империи пользуется такими прерогативами, какие тягостнее дворянских привилегий; нет королевской цензуры, но есть цензура императорская, бесцеремонная и по-солдатски грубая. И все эти жертвы принципами 1789 года ради чего? Все для единой цели - создания мировой империи с "безблагодатным" императором во главе. И все покорствуют, все, как сомнамбулы, идут за этим странным корсиканцем, тайна которого заключается в том, что он ни разу не усомнился в своем праве принимать бесконечные человеческие гекатомбы.

Но, может быть, Александр ошибается? Может быть. Наполеон вовсе не жаждет мирового господства? Пять лет тому назад он ведь сказал за обедом князю Н. Г. Волконскому: *"Передайте вашему государю, что я его друг, но чтобы он остерегался тех, которые стараются нас посорить. Если мы соединимся, мир будет наш. Вселенная подобна этому яблоку, которое я держу в руках. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину. Для этого нам только нужно быть согласными, и дело сделано"*.

Когда Волконский докладывал об анекдоте с яблоком, Александр заметил, улыбаясь: *"Сначала он удовольствуется одной половиной яблока, а там придет охота взять и другую"*.

Фантом Наполеона заслонял собою от Александра всю сложность исторической обстановки. Александр знал, конечно, что так называемая континентальная система, закрывавшая все порты для английских кораблей, была разорительна для России, что экономический процесс, неудержимо развивавшийся в пределах нашей страны, встречал в этой континентальной системе искусственное препятствие, и дело нашего экспорта тормозилось, а вместе с тем задерживалось естественное развитие всех материальных и культурных сил России. Союз с Наполеоном и навязанная России экономическая политика были невыгодны не только крупным помещикам и нарождающейся буржуазии, но и среднему классу, а косвенно и всей огромной массе крестьянства, ибо падение крепостного права зависело в значительной мере от общего развития производительных сил населения.

Франция боролась с Англией за политическую и экономическую гегемонию, а Россия с Тильзитского мира попала в положение вассала Франции. Все это было достаточным основанием для столкновения европейского Запада с европейским Востоком. Но, сознавая это, Александр все-таки, подобно всем современникам, не мог отрешиться от мысли, что вся история человечества той эпохи сосредоточилась в личности Наполеона. Он так и говорил: *"Наполеон или я. Вместе мы не можем царствовать"*. Одержав Наполеон решительную победу над Россией, и Европа превратилась бы в единую империю. Две половинки яблока соединились бы вместе.

Но, может быть, у Наполеона не было такой исключительной цели, и он вовсе не хотел завладеть Европой? Едва ли возможно теперь в этом сомневаться. Мало того. Наполеону было тесно даже в пределах всей Европы. *"Европа, это - кротовая нора, - говорил он, - только на Востоке существовали великие империи и великие революции, там, где живет семьсот миллионов человек"*. Это было сказано Наполеоном еще во время его испанского похода. В те годы он, не смущаясь, позволял себе мечтать вслух:

"Я подниму и вооружу всю Сирию... Я иду на Дамаск, на Халец; по мере движения вперед армия моя растет от наплыва недовольных. Я объявляю народу уничтожение рабства и тиранического правления паши. Во главе вооруженных масс я дохожу до Константинополя; я опрокидываю Турецкую империю; я создаю на Востоке новую и великую империю, которая упрочит мое место в потомстве, и, может быть, я вернусь в Турин через Адрианополь или Вену, уничтожив предварительно австрийский дом".

Подобных признаний Наполеон делал немало. Занявшись реальной политикой и покоряя Европу, он оставил на время мечты об Азии, но он вовсе не отказался от них. Между Европой и Азией раскинулась необозримая Россия. В ноябре 1811 года Наполеон говорил аббату де-Прадту:

"Через пять лет я буду властелином всего мира. Остается только Россия, но я раздавлю ее".

Нет, Наполеон никогда не отказывался от мечты о всемирном господстве. За несколько месяцев до того, как он повел свои полчища на Россию, он говорил Нарбонну:

"Во всяком случае, мой милый, этот длинный путь есть путь в Индию. До Александра так же далеко, как от Москвы до Ганга; это я говорил еще при Сен-Жан-д'Арке... В настоящее время я должен зайти в тыл Азии со стороны европейской окраины для того, чтобы там настигнуть Англию... Предположите, что Москва взята, Россия сломлена, царь просит мира или умер от какого-нибудь дворцового заговора; скажите мне, разве не возможно для французской армии и союзников из Тифлиса достигнуть Ганга, где достаточно взмаха французской шпаги, чтобы разрушить во всей Индии это непрочное нагромождение торгашеского величия. То была бы экспедиция гигантская, я согласен, во вкусе XIX века, но выполнимая".

В Тильзите и в Эрфурте Наполеон, упоенный своими успехами и презирая Александра, иногда болтал лишнее. Александр был пронительнее, чем полагал его гениальный собеседник. И, обнимая друг друга, они уже оба мысленно готовились к страшному поединку.

Однажды Наполеон сказал Меттерниху об Александре: *"Наряду с его крупными умственными качествами и умением пленять окружающих, есть в нем нечто такое, что я затрудняюсь определить. Это - что-то неуловимое (un je ne sais quoi), и я могу объяснить его, лишь сказав, что во всем и всегда ему чего-то не хватает"*.

Что же неуловимое было в Александре? Не то ли, за что Пушкин назвал его презрительно *"арлекином"*, а Герцен полусочувственно - *"коронованным Гамлетом"*? Не

эта ли непонятная Наполеону душевная двойственность, эта загадочная противоречивость? Едва ли возможно объяснить это странное душевное свойство Александра простым слабоволием или ничтожеством характера. Нет, после 1812 года этот "двуликий" человек доказал, что у него есть воля и что характер его не так уже ничтожен. Но ему никогда не хватало того, что было в Наполеоне самым существенным - твердой уверенности в своем праве на власть. Александр раз-навсегда усомнился в этом своем праве.

Это была его драма, - драма, кажется, а не трагедия, ибо история до сих пор не разгадала его "конца". Мы так и не знаем достоверно, совершился или не совершился в его душе некий катарзис, некое очищение и оправдание тех страстных страданий и преступлений, какие выпали на его долю. Вот это и было то *"неуловимое"* (*un je ne sais quoi*), о чем говорил Наполеон Меттерниху.

И этому Гамлету пришлось вступить в борьбу с железным вождем непобедимых легионов! Александр и Наполеон совершенно разительны в своей противоположности. В характерах их не было, кажется, ни одной общей черты. Александр, например, не раз предававший принцип свободы, никогда, однако, не переставал верить в нее, как в желанную и необходимую - даже в эпоху глухой реакции. Сама идея свободы казалась ему священной. Он никогда не мог бы сказать так, как сказал Наполеон, обращаясь к одному из своих генералов: *"Неужели вы принадлежали к числу идиотов, веривших в свободу?"*

Александр страшился власти и тяготился ею. А Наполеон говорил: *"Моя любовница - власть. Я слишком дорогой ценой купил ее, чтобы позволить похитить ее у меня, или же допустить, чтобы кто-нибудь с вожделением поглядывал на нее"*.

Александр плачет, отправляя войска в поход, и поле битвы, усеянное убитыми, наводит на него великую грусть. А Наполеон, посылая в атаку корпус, говорит, не смущаясь: *"Солдаты, мне нужна ваша жизнь и вы обязаны отдать мне ее"*. Генералу Дерсенну и его гренадерам он заявил однажды: *"Говорят, что вы ропщете, что вы хотите вернуться в Париж к вашим любовницам. Не самообольщайтесь. Я продержу вас под ружьем до восьмидесяти лет. Вы родились на бивуаке, тут вы и умрете"*.

Александр был приветлив и любезен. В его присутствии все чувствовали себя легко и свободно. Наполеон был грубоват и невежлив. *"Его двор был нем и холоден и носил печать скорее тоски и скуки, чем гордого достоинства. На всех лицах лежало выражение затаенного беспокойства. Везде царило принуждение и тусклое молчание"*.

В отношениях с женщинами Александр был всегда безупречным рыцарем. Наполеон был с ними бесцеремонен. Если ему случалось при посредстве своей полиции узнать о любовной истории какой-нибудь замужней дамы, он спешил сейчас же поделиться новостью с ее супругом. После разрыва со своими собственными любовницами он не щадил их скромности и чести. Жену Жозефину он любил посвящать в интимные подробности своих приключений, а на ее упреки с негодованием восклицал: *"Я имею право на все ваши жалобы ответить одним словом: это - я"*.

Александр всегда изнемогал от сознания ответственности за пролитую кровь сумасшедшего Павла. Наполеон никогда не тяготился кровью и сам говорил про себя: *"Такой человек, как я, ни во что не ставит миллион человеческих жизней"*.

Но Бонапарт был гений, и его безумной и величавой мечте о всемирной империи надо было что-то противопоставить. у Александра к началу войны 1812 года не было в душе ничего равного по значительности наполеоновской идее. Ему пришлось войти на подмостки истории, худо зная свою роль. Впрочем, иные думали, что. у него был тогда хороший суфлёр - русский народ.

XIV

В конце 1811 года для Александра уже было ясно, что неизбежно столкновение с Наполеоном, но в то же время он сам и все вокруг него чувствовали, что правительство и армия не готовы к этому испытанию. Правда, ноябрьская победа над турками, одержанная Кутузовым, и союз с Швецией обеспечивали нам некоторую свободу действий, но этого было мало для борьбы с врагом, чья армия была вдвое больше нашей, как думал Александр. На самом деле и эти расчеты были неточны. Наполеон вел на Россию около шестисот тысяч солдат, а у нас было всего двести тысяч. Казалось, что эта борьба с гениальным полководцем, обладавшим такой огромной, превосходно подготовленной армией, за которой следовали тысячи повозок с провиантом, не может увенчаться успехом. Казалось, что никакое патриотическое воодушевление не могло спасти страну от страшного поражения. Наполеон был в этом уверен. Он смеялся над отсутствием у нас единого военного и политического плана. *"В России есть таланты, - говорил он Куракину, - но то, что там делается, доказывает, что у вас или потеряли голову, или таят задние мысли. В первом случае вы походите на зайца, у которого дробь в голове и который кружится то в ту, то в другую сторону, не зная, ни по какому направлению он следует, ни куда добежит"*.

Нет надобности рассказывать еще раз о событиях, всем хорошо известных. Все мы знаем, как Александр мечтал стать во главе наших армий и как он страшился этого, сознавая ответственность перед страной. В апреле 1812 года в Вильно он был окружен огромной толпой иностранцев. Штейн, Фуль, Бенигсен, Дибич, Толь, Вильсон, Паулучи, Мишо, Сен-При и другие наперерыв предлагали Александру свои проекты и планы.

Кому довериться? Кому вручить судьбу кампании?

Иногда хотелось все бросить и бежать от этих страшных сомнений и ужасных дел. Но бежать было некуда, и надо было милостиво улыбаться, принимать польских магнатов и польских красавиц, стараясь внушать им надежды на лучшее будущее под скипетром России. Балы и вечера занимали столько же времени, сколько и совещания со стратегами. Последним празднеством был бал в Закрете, загородном замке генерала Бенигсена. Построили спешно огромный павильон для танцев, но он зловеще рухнул, и Александр, стараясь преодолеть суеверное чувство, приказал не отменять бала, очистить павильон от обломков и танцевать под открытым небом. Во время этого бала ему донесли, что Наполеон перешел Неман без

объявления войны. Александр ничем не обнаружил, что ему известно роковое событие, и продолжал очаровывать дам и сановников. Остаток ночи он провел за неотложными делами. На другой день был составлен рескрипт, где между прочим Александр говорил: *"Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем"*.

Всем известны дальнейшие события. Наши армии - северная Барклая-де-Толли и южная Багратиона - отступали с опасностью быть отрезанными одна от другой полчищами Бонапарта. Александру пришлось покинуть главную квартиру. Все понимали, что его присутствие вредно для дела. Шишкову пришлось уговаривать Аракчеева повлиять на Александра. Шишков доказывал, что государь должен ехать в Москву *"для пользы отечества"*. Но временщик был патриотом на особый лад. *"Что мне до отечества!"* - сказал он. = *Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь долее при армии?"* В конце концов Аракчеев согласился уговорить императора.

Царь уехал в Москву. Здесь дворяне и купцы встретили его, как уверяют мемуаристы, с энтузиазмом. Однако на этот раз не обошлось без политических опасений. До Ростопчина дошли слухи, будто бы мартинисты и вольнодумцы намерены сделать запрос государю о состоянии войска, его количестве и о нашем стратегическом положении. Запрос не состоялся. Но граф Ростопчин, автор известных фальшиво-патриотических воззваний, поставил около дворца, где Александр принимал дворян, две тележки, запряженные почтовыми лошадьми, и полицейских чинов, готовых немедленно схватить первого вольнодумного оратора. Ростопчин объяснял впоследствии, что эти грозные тележки предотвратили возможные выступления оппозиции. Но, по-видимому, у Ростопчина было расстроенное воображение. Пожертвования, огромные для того времени, притекали безостановочно. К осени собрано было до ста миллионов рублей. Торжественные собрания и речи, приветственные крики уличной толпы, молебны и колокола - все это наполняло душу смятением, утомляло сердце, и было трудно разгадать истинный смысл событий.

Александр понимал, однако, что судьба России зависит сейчас прежде всего от мужиков. В их руках было оружие. Наполеон понимал это не хуже Александра. Он вез с собой не только фальшивые русские ассигнации, но целые тюки прокламаций, в коих обещал крепостным освобождение. Мужики читали прокламации, и кое-где были случаи расправы с помещиками, но в общем наполеоновские прокламации не имели успеха. Дворянам, впрочем, везде мерещилась опасность великого бунта.

Известный Поздеев писал тогда: *"Мужики, по вкорененному Пугачевым и другими головами желанию, ожидают какой-то вольности, хотя и видят разорение совершенное; но очаровательное слово "вольность" кружит их"*.

Мужики, однако, привыкли верить делам, а не словам. Нашествие международных полчищ сопровождалось грабежами, мародерством, жестокими репрессиями, и все это не могло внушить доверия к завоевателю. Русское правительство со своей стороны не обещало ничего определенного, но у крестьян являлась надежда на конец крепостного права. Все понимали, что защищают Россию не рабы, а граждане, и странно было бы завтра пороть и продавать тех, к патриотизму коих обращался сегодня сам царь. Мы теперь знаем, что Александру Благословенному не удалось все-таки освободить крестьян. И целое столетие

понадобилось для того, чтобы совершилось наконец это освобождение - и то не в полной мере.

Итак, крестьяне, несмотря на ненавистную крепостную зависимость, не признали в Наполеоне своего освободителя, и если в разных местах вспыхивали бунты, то приходится удивляться не тому, что были такие случаи, а тому, что их было сравнительно мало и что наша мужицкая армия не обратила тогда оружия против помещиков. Русские солдаты, - не только ветераны суворовских и кутузовских походов, но и ополченцы, взятые от сохи, - дрались с необычайным мужеством.

Александр понимал, что надо вести "скифскую" войну, отступая в глубь страны. Он так и говорил, что, если на стороне врага преимущество военного гения и огромное превосходство живой силы, зато на стороне России - время и пространство.

О нравственной стороне события он говорил патриотическими устами Шишкова, чье официальное красноречие едва ли могло дойти до слуха русских мужиков, по-своему понимавших смысл того, что совершалось с такой роковой неизбежностью. Александр предпочитал говорить устами Шишкова, потому что ему самому не было ясно, во имя чего собственно проливаются сейчас потоки человеческой крови. Каждый день приходили известия одно другого ужаснее. Надо было что-то решать, приказывать, с кем-то соглашаться, кому-то возражать; десятки и сотни лиц домогались аудиенций... "*Без лести преданный*" Аракчеев и великий князь Константин Павлович - оба грозные и омерзительно жестокие по отношению к русским солдатам - позорно трусили перед французами и умоляли Александра сложить оружие и просить мира. Но Александр был неизмеримо умнее своего верного пса Аракчеева и своего братца, столь храброго в глубоком тылу. Александр понимал, что дело зашло слишком далеко, что он, русский император, должен действовать не так, как хочет он, а так, как хочет сама история, как хочет мужицкая Россия, которая осознала себя как сила, которой будет принадлежать в конце концов вся земля и вся воля.

Крестьяне в 1812 году с очевидностью доказали, что в них было тогда понимание эпохи и правильное политическое сознание, и не будь этого исторического опыта, декабристам не удалось бы в 1825 году привести полки на Сенатскую площадь.

Александр понимал, что надо вести "скифскую" войну, отступая в глубь страны, но никто не знал, до каких же пределов надо отступать. Когда под Смоленском соединились наконец армии Баркляя-де-Толли и Багратиона, многие надеялись, что здесь прегражден будет путь врагу. Однако несмотря на то, что русские солдаты дрались с удивительным упорством, пришлось оставить Смоленск. И немудрено - на каждого русского приходилось по три француза. "Пространство и время", наши верные союзники, еще не успели прийти нам на помощь. Надо представить себе, что думал и чувствовал Александр, когда приезжали к нему из армии адъютанты с известиями о нашем неуклонном отступлении. И было странно то, что в сущности никто не хотел этого отступления - ни солдаты, ни полководцы, но какой-то здоровый инстинкт понуждал армию, сражаясь и вовсе не теряя мужества, уходить все дальше и дальше в глубь страны, увлекая за собой полчища Наполеона, которые шли по разоренным и сожженным дорогам, теряя на этом пути людей, лошадей и обозы, но еще не предчувствуя своей гибели.

Эта уверенность Наполеона и его солдат в конечной победе была поколеблена, как известно, лишь в "священной" Москве, во время ее непонятных пожаров.

XV

Страшные события, надвигавшиеся на Россию, пугали воображение и смущали сердце. Незадолго до вторжения в наши пределы полчищ Наполеона в душе Александра опять возникли видения и мысли, которые он всегда старался гнать от себя подальше. Ему снова и снова мерещилось мертвое, изуродованное лицо Павла, и ему казалось, что убийство отца - его личная вина и что, быть может, несчастья, обрушившиеся на Россию, - возмездие за его преступление. Страшно было жить и некому было открыть свою душу. Суеверное чувство так владело умом и сердцем, что весь мир казался мрачным и страшным. Мрачен и загадочен и этот великолепный Петербург, где гранитные набережные не могут сдержать напора темной стихии, всегда готовой ринуться на императорский город. Дивные дворцы, храмы, площади и монументы величавы и строги, но они как будто сняты, и кажется, что это лишь волшебная декорация, а за нею темная безмерность России. Александр всегда стремился куда-то уехать, чтобы не видеть этих петербургских призраков. Он возлагал надежду на "время и пространство", полагая, что они победят непобедимого Наполеона, но ему хотелось порой, чтобы они и его самого поглотили, скрыли в своем маре преходящего.

Бабушка Екатерина немало старалась изничтожить в своем прелестном внуке всякое суеверие - дурное наследство сумасшедшего отца и темных традиций старины, но, кажется, тщетными оказались ее старания. Ни бритый протоиерей-воспитатель, ни республиканец Лагарп, ни веселый цинизм ее вельмож, ни груда французских книг, где авторы остроумно шутили над религиозными предрассудками, - ничто не помогло, и тридцатипятилетний Александр вдруг почувствовал себя во власти таинственных сил. Он стыдился этого своего неожиданно возникшего суеверного чувства и не мог понять, откуда оно явилось. Он не стыдился верить в бога, но это был безопасный, отвлеченный и похожий на алгебраическую формулу бог французских деистов. А теперь в сердце Александра поселился какой-то суеверный страх, и это уже было недостойно ученика энциклопедистов.

В то время как рок увлекал Наполеона, и он шел неудержимо к Москве, наши полководцы, худо сознавая конечную цель своей тактики, отступали все дальше и дальше; всем все казалось непрочным и все готовы были поверить в самое неожиданное и фантастическое. Боялись вражеской диверсии на Петербург, и правительство распорядилось о постепенном вывозе сокровищ из северной столицы. Жители Петербурга, чувствуя, что все непрочно, тоже готовились к отъезду. И чем ближе были петербуржцы ко двору и к особе государя, тем они были тревожнее и беспокойнее. Никому в голову не приходило устраивать прочно свой петербургский быт. Но был один близкий императору человек, который как раз в это время вздумал строить себе в столице новый дворец. Это был князь А. Н. Голицын. Императору уже шептали на ухо, что князь Голицын - изменник и ждет Наполеона, не боясь за свою новую недвижимую собственность. Александр не верил этим сплетням, но все-таки посетил однажды своего старого приятеля и спросил его, что это ему вздумалось в такое смутное время заняться сложной постройкой.

Когда-то веселый забавник и грешный ловелас, князь Голицын теперь слыл мистиком и вместо непристойных французских книжек читал Библию, ища в ней аллегорического смысла. И на этот раз Голицын сказал Александру, что он не боится Наполеона, ибо он полагается на промысл божий. Маленький князь протянул руку к Библии, лежавшей на столе, но тяжелая книга упала на пол, развернувшись как раз на той странице, где был девяностый псалом. Голицын объяснил Александру, что эта страница открылась не случайно, а по воле небесных сил, и Александр с немалым интересом прочел этот псалом, которого он не знал до той поры. Протоиерей Самборский забыл познакомить своего воспитанника с творениями вдохновенного Давида; впоследствии Александру некогда было заниматься подобными вещами, а в церкви псаломщики читали все так гнусаво, что Александр давно уже утратил надежду что-нибудь понять в этих славянских чтениях и обыкновенно размышлял в церкви о текущих мирских делах. Этот анекдот не был, однако, исчерпан эпизодом с упавшей на пол Библией. За ближайшей церковной службой император услышал опять знакомый теперь славянский текст и на этот раз уразумел его.

Тогда он решил, что это вторичное чтение псалма провиденциально. Ему захотелось прочесть Библию, доселе не читанную. Но все полки в дворцовой библиотеке были загромождены многотомными сочинениями Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье, Мабли... Попадались в руки порнографические книжки Лафонтена, игривые стишки Парни, "Мой побег из Венецианской тюрьмы" и другие приключения всевозможных бесстыдников XVIII века, но Библии не было..

Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета Алексеевна как будто интересуется религией. В самом деле у этой забытой мужем императрицы нашлась желанная книга. Само собою разумеется, что это была не славянская Библия, а французский перевод католической вульгаты.

Впоследствии Александр говорил: *"Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуместь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении божественного слова"*.

В это время не один Александр заинтересовался Библией. Патетический Шишков сидел в это время над священными текстами. *"Я просил государя, - пишет Шишков, - прочесть ему сделанные выписки. Он согласился, и я прочитал их с жаром и со слезами. Он также прослезился, и мы оба довольно с ним поплакали"*.

Какие же это были выписки? Над чем плакал император вместе с почтенным Александром Семеновичем? Это были многочисленные цитаты из пророков - Иеремии, Исаии, Иезекииля. Оказывается, еврейские пророки предвидели, что маленький французский капрал вторгнется в православную Россию. У них очень точно описан Бонапарт.

"Сердце его, аки камень; окрест зубов его страх, очи горят, яко углие..."

Разве это не он? Или вот еще портрет корсиканца:

"Сей речет в уме своем: на небо възду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горах высоких, яже к северу, възду выше облак, буду подобен вышнему..."

А конец этой цитаты и вовсе убедителен:

"Аз есмь царь царей. И се аз на тя Рос и приведу на тя языки многи, якоже восходит море волнами своими и обвалят стены градов твоих".

Особенно поразительно, что *"царь царей"*, очевидно, Наполеон, ведет *"языки многи"* именно на *"Рос"*, т. е. на Русь. Правда, в подлиннике сказано вовсе не Рос, а Сор, но в своем патриотическом восторге Александр Семенович не утерпел и переставил буквы для большего эффекта. Но Александр не обращал внимания на эти мелочи. Его поразили величавые картины грядущих событий. За несколько тысячелетий какие-то необыкновенные люди пламенным языком говорили о том, что будет некий нечестивый властелин, который, забыв бога и совесть, возжаждет поработить все народы. Безбожный владыка сам захочет стать богом. Он растопчет все святыни, чтобы создать новые во имя свое. Этот враг истины будет горд и своеволен, как сатана. Он объявит себя сыном Божиим.

Александр, по-видимому, не знал, что на другой день после своей коронации Наполеон говорил: *"Я слишком поздно родился. Теперь трудно совершить что-либо великое. Конечно, я сделал блестящую карьеру, я этого не отрицаю, я пошел по верному пути. Но какая разница с античными временами! Возьмите, например, Александра Македонского: покорив Азию, он объявил себя сыном Юпитера, и весь Восток этому поверил, за исключением Олимпис, которая, понятно, на этот счет имела свое особое мнение..."* *"Ну, а вздумай я объявить себя сыном предвечного отца, любая торговка посмеется мне в лицо при встрече".*

Однако тот факт, что якобинец Бонапарт с совершенной искренностью жалуется на неуместный скептицизм парижских торговков, весьма выразителен. В самом деле, те самые дамы рынка, которые когда-то напялили на голову венчанного Капета красный колпак, не могли, разумеется, поверить в божественность Бонапарта. Но ведь в его *"божественности"* вся суть. Наполеон так и сказал, ведя свою великую армию на *"священную"* Москву: *"Если бы сам бог захотел помешать мне идти вперед, это ему не удалось бы"*.

Читая Библию, Александр все более и более убеждался в своей духовной слабости и нищете. Что он значит перед лицом величайших событий? Смеет ли он занять место вождя русской армии? Надо смиренно подчиниться голосу народа. Все уверяют, что нужен главнокомандующий с русским именем, любимый солдатами. Это - Кутузов, младший товарищ Суворова. Александр вспоминал неповоротливого, грузного человека, с хитрым глазом, и ему было неприятно, что придется назначить именно его, этого свидетеля аустерлицкого позора. Но делать нечего. И Александр назначил Кутузова главнокомандующим.

Александр рассказывали, что Кутузов, приехав в армию, сказал будто бы: *"Ну, разве можно отступить с такими молодцами!"* Все верили, что наступит конец нашей ретирады. Но - странное дело - и этот любимец наших солдат подобно честному немцу Барклаю-де-Толли уводил армию все дальше и дальше, удивляя всю Россию.

Наконец наступил Бородинский бой. Сорок тысяч русских людей легло на поле битвы, столько же погибло французов и союзников. Александр дрожащими руками взял бумагу с донесением Кутузова. Странное это было донесение. Оно было слишком лаконично, неопределенно и сухо. Как будто автору донесения лень было писать его, как будто Кутузов занят был чем-то другим, более важным, чем эта случайная битва в ста тридцати верстах от Москвы. Стил донесения вял и небрежен. Синтаксис неграмотен.

"Сражение было общее и продолжалось до самой ночи; потеря с обеих сторон велика; урон неприятельский, судя по упорным его атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма наш превосходить."

Войска вашего императорского величества сражались с невероятною храбростью: батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами.

Ваше императорское величество изволите согласиться, что после кровопролитнейшего и пятнадцать часов продолжавшегося сражения наша и неприятельская армия не могли не расстроиться, и за потерю, сей день сделанную, позиция, прежде занимаемая, естественно стала обширнее и войскам невместною, а потому когда дело идет не о славе выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии, ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить шесть верст, что будет за Можайском, и, собрав расстроенные баталией войска, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением московским, в теплом уповании на помощь всевышнего и на оказанную невероятную храбрость наших войск, увижу я, что могу предпринять противу неприятеля".

Неясный и уклончивый рапорт Кутузова Александр принял, как весть о неудаче русской армии, но поздно было менять командование. А между тем сам Кутузов нисколько не сомневался, что Бородинский бой ведет нас к настоящей победе. Спустя несколько дней после битвы он писал жене: "Я слава богу здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартом. Детям благословение. Верный друг". Эта записочка куда лучше написана, чем рапорт императору. Очевидно, что Кутузов не очень интересовался душевным состоянием Александра и не считал нужным поддерживать в нем бодрость.

7 сентября Александр получил через Ярославль краткое донесение графа Ростопчина о том, что Кутузов решил оставить Москву. Император удалился к себе в кабинет, и всю ночь камердинер слышал его шаги. Утром он вышел из кабинета, и все заметили, что у императора в волосах немало седых прядей. Императрица-мать и братец Константин в истерике упрекали императора за то, что он не спешит заключить мир с Бонапартом. Патриоты негодовали на иной лад. Повсюду Александра встречали недоумевающие, злые или смущенные взгляды. Сама Екатерина Павловна, с которой он был связан нежной дружбой, писала ему из Ярославля: "Занятие Москвы французами переполнило меру отчаяния в умах, недовольство распространено в высшей степени и вас самого отнюдь не щадят в порицаниях... Вас обвиняют громко в несчастий вашей империи, в разорении общем и частном, - словом, в утрате чести страны и вашей собственной..."

Полковнику Мишо, который привез императору официальное известие о занятии Москвы французами, Александр сказал: *"Истоцив все средства, которые в моей власти, я отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить"*.

А на другой день он писал шведскому наследному принцу по поводу занятия Наполеоном Москвы: *"После этой раны все прочие ничтожны. Ныне более, нежели когда-либо, я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погresti себя под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен"*.

Тщетно *"без лести преданный"* Аракчеев молил своего хозяина принять предложения Наполеона о мире. Александр обыкновенно рассеянно слушал своего любимца, ежели тот решался рассуждать о высокой политике.

XVI

Пять недель пребывания Бонапарта в Москве были для Александра самым страшным испытанием после 11 марта 1801 года. Император чувствовал, что все его торжественные слова о том, что он отрастит себе бороду и будет есть картофель с мужиками, нисколько не влияют на современников. 15 сентября, в день коронации, уличная толпа встретила императора мрачным молчанием. *"Никогда в жизни не забуду тех минут, - пишет графиня Эдлинг, - когда мы поднимались по ступеням в собор, следуя среди толпы; не раздалось ни одного приветствия. Можно было слышать наши шаги, и я нисколько не сомневалась, что достаточно было малейшей искры, чтобы все кругом воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходит в его душе, и мне показалось, что колени мои подгибаются"*.

Положение императора Александра в самом деле было трудное. Он старался как можно меньше видеть людей, запирался у себя в кабинете и, забывая подписывать срочные бумаги, читал французскую Библию, стараясь разгадать ее тайный смысл. Он казался теперь сутулее, чем всегда, и свойственная ему обворожительная улыбка реже появлялась на его лице.

Из Москвы приходили ужасные вести. Столица горела, и целые кварталы были уже в дымящихся развалинах. Французы грабили бесстыдно. И оставшиеся жители подвергались насилию и оскорблениям. Но эта разнузданность солдат таила в себе гибель армии.

6 октября, как известно, произошла битва под Тарутином. Мюрат был разбит, и, хотя русские не использовали своего выгодного положения. Наполеон в ту же ночь, взорвав не совсем удачно Кремль, покинул столицу. Получив известие о выступлении Наполеона из Москвы, Александр понял, что опасность миновала. Кутузов приглашал императора руководить военными действиями, но воспоминания об Аустерлице и Фридланде смущали Александра, и он сказал посланному к нему из армии полковнику Мишо, что не хочет пожинать лавры, не им заслуженные.

Через неделю пришло известие о сражении под Малоярославцем. Армия Наполеона все еще была внушительной силой, но она обречена была на гибель, несмотря на храбрость ветеранов и мужество маршалов. Александр с волнением читал о движении полчищ Бонапарта. Эта армия, все еще огромная, несмотря на все потери, влекла за собой несметные обозы с награбленным имуществом, и эта жадность завоевателей была для Наполеона как ядро на ноге каторжника. Все были мародерами, начиная с маршалов и кончая мальчишкой-барабанщиком. Генералы ехали в колясках, и у каждого были десятки и даже сотни фургонов с серебром, мехами, фарфором, шелком, зеркалами... Зрелище человеческой жадности перед лицом смерти было омерзительно и мрачно. Французы дрались с злым упорством, защищая награбленное, как будто в этом был весь смысл военного похода на Москву.

Слова Исаии звучали в душе Александра внушительно и таинственно. Всемогущий Ягве карает царей-богоотступников.

"Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли..."

"Ондохнул на них, они высохли, и вихрь унес их как солому..."

"Народ и царства, которые не захотят слушать тебя, погибнут, и такие народы совершенно истребятся..."

Александром казалось, что он обрел истину. Он бредил библейскими текстами. Ему снились исполинские картины, созданные воображением Иезекииля. Наполеон, которого он обнимал в Тильзите и называл братом, теперь казался ему страшным зверем. Бог спас его, Александра, от участи тех безбожных владык, которых карает десница бога богов. Слабый и грешный Александр избран провидением, чтобы сломить безмерную мощь величайшего из гордецов. Надо спешить. Надо раздавить эту гидру, которая может опять поднять голову. Почему этот старый хитрец Кутузов медлит изничтожить врага одним ударом? Разве он не понимает, что сейчас дело идет не только о России? Весь мир окован цепями этого демона, и если не удастся сломить врага сегодня, он опять будет владеть Европой, а потом и Азией. Вселенная в ужасе смотрит на этого загадочного и мрачного человека.

А Кутузов, кажется, ничего не понимает. Он ленив и беспечен. У него даже нет честолюбия. Он говорит, усмехаясь: *"Все это развалится и без меня"* (tout cela se fondera sans moi). Он проводит все ночи напролет с какой-то хорошенькой любовницей, а на военных советах спит. Почему его так любят солдаты? Он не хочет гибели Наполеона. Ему бы только выгнать его из России, а до судьбы мира ему нет дела.

"Я вовсе не убежден, - заявил он однажды генералу Вильсону, - будет ли великим благодеянием для вселенной совершенное уничтожение императора Наполеона и его армии. Наследство его достанется не России или какой-либо другой из держав материка, а той державе, которая уже теперь господствует на морях, и тогда преобладание ее будет невыносимо". А еще раньше, под Тарутином, он сказал одному русскому генералу: *"Мы никогда, голубчик мой, с тобой не согласимся: ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если этот остров сегодня пойдет на дно моря, я не охну"*.

Кутузов ленив и нелюбопытен, как все русские. Он не хочет заглянуть в будущее и живет сегодняшним днем, он не сознает того, что надо во что бы то ни стало отрезать Наполеона от Запада и взять его в плен. Если он невредимый уйдет из этой холодной русской пустыни в свою теплую Францию, его там опять встретит триумфами восторженная нация, и он снова поведет легионы с тем, чтобы уничтожить независимость народов.

Но Александр не решался отнять власть у героя Бородина. И Наполеон уходил, огрызаясь, как лев, от русских, которые шли за ним по пятам. Французская армия таяла на глазах Кутузова.

Гибель вражеской армии внушала Александру мысль, что какие-то неведомые силы спасают Россию. Куда в самом деле исчезают части наполеоновской армии одна за другой? Когда русские настигают французов, трудно решить, на чьей стороне остается в этих столкновениях военное преимущество. А между тем французская армия как будто проваливается в неизмеримое пространство России. Осень была теплая, да и октябрьские морозы, наступившие позднее, не так уж были сильны, но какой-то белый туман окутывал растянувшиеся по дорогам солдатские колонны. Французские, польские, итальянские, немецкие отряды то и дело сбивались с пути в этой волшебной снежной мгле и сами спешили навстречу гибели, отдаваясь сотнями и тысячами казакам и даже мужикам и бабам, вооруженным косами и ножами.

И вот наконец Александр получает донесение о знаменитой битве на Березине, у Студянки. Здесь был последний разгром наполеоновской армии, но почему же, однако, ушел сам Бонапарт с остатками, хотя и жалкими, своей армии на Запад? Как могли русские генералы допустить это бегство? Мюрат ведет измученных гвардейцев по направлению к Вильно, а сам император, бросив своих ветеранов, мчится в Париж набирать новых солдат. Покинув в Вильно тысячи раненых и больных, французы спешат дальше, и русский авангард беспрепятственно входит в город.

Сам Александр едет в армию. Ему приходится здесь, в Вильно, обнимать торжественно на глазах всех Кутузова. Ему приходится вручать старику Георгия первой степени. Но Кутузов по-прежнему смотрит на своего государя хитрым мужицким глазом. По-прежнему они не понимают друг друга.

Если верить Вильсону, Александр будто бы говорил этому генералу: *"Мне известно, что фельдмаршал ничего не исполнил из того, что следовало сделать, не предпринял против неприятеля ничего такого, к чему бы он не был буквально вынужден обстоятельствами. Он побеждал всегда только против воли; он сыграл с нами тысячу и тысячу штук в турецком вкусе. Однако дворянство поддерживает его, и вообще настаивают на том, чтобы олицетворить в нем народную славу этой кампании. Отныне я не расстанусь с моей армией и не подвергну ее более опасности подобного предводительства"*.

Графу Салтыкову писал: *"Слава богу, у нас все хорошо, но несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо"*.

Кутузов по-прежнему твердил упрямо государю, что пора *"положить оружие"*. До Европы нам нет дела. Там все уладится само собою. Александр на этот счет был иного мнения, и

было трудно убедить старика и многих ему сочувствующих, что нужен новый поход на Запад для освобождения Европы. Иногда Александр изнемогал от этого сопротивления какой-то косной стихии, олицетворением коей он считал Кутузова. Предпринимая кампанию 1813 года, он не мог не думать о нравственной ответственности перед Россией, и поэтому каждое сомнение в необходимости этого нового похода было для него, как нож в сердце.

"Надо побывать на моем месте, - говорил он Шуазель-Гуффье, - чтобы составить себе понятие об ответственности государя и о том, что я испытываю при мысли, что когда-нибудь мне придется дать отчет перед богом за жизнь каждого из моих солдат. Нет, престол не мое призвание, и если бы я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал..."

"Признаться, иногда я готов биться головой об стену".

"Биться головой об стену" в самом деле было от чего. По большой Смоленской дороге лежало до ста тысяч неубранных трупов, которые гнили, заражая воздух. Несмотря на то, что, оберегая Чувствительную душу Александра, спешно проложили к Вильно особую дорогу, параллельную старой, все же императору пришлось увидеть картины, похожие на образы дантова ада. Сани нередко дробили полозьями кости мертвецов. Встречались громадные толпы обмерзлых, посиневших, едва двигавших ноги пленников, которых гнали дубинками мужики и бабы. На подводах везли наваленных кучами раненых и больных, коих приходилось то и дело сбрасывать на дорогу, как только они переставали дышать. Лошади храпели и поднимались на дыбы, чуя груды мертвецов. В иных местах тела замерзших мертвецов стояли недвижно, прислоненные к деревьям. Волки, воя, терзали трупы на глазах проезжих. Распространялись эпидемии. За год войны взято было на военную службу более миллиона крестьян. Население было разорено. Целый ряд губерний был опустошен пожарами и грабежами. И в это трудное время Александр предпринимал новую кампанию.

Не успел Наполеон покинуть пределы России, как уже возник опять во всей своей остроте польский вопрос. Александр, друг Адама Чарторижского, одного из самых страстных польских патриотов, четырнадцать лет слушавший среди нежных объятий обольстительные речи польки Четвертинской, по мужу Нарышкиной, всегда чувствовал особое пристрастие к этому облатинившемуся славянскому племени. Но события говорили против поляков. Александр знал, что, несмотря на данные им польскому обществу обещания отстаивать их независимость, поляки встретили Наполеона с энтузиазмом и участвовали в походе на Москву, превосходя французов в жестокости и жадности.

И теперь, когда после изгнания Наполеона из России русские войска вступили в Польшу, население встретило Александра холодно и мрачно. Одни евреи, которым так мало доверяло наше правительство, проявили русский патриотизм, встречая восторженно нашу армию. Александр с удивлением смотрел на толпы старых и молодых евреев, которые несли ему навстречу разноцветные хоругви с его вензелями, били в барабаны и играли на трубах и литаврах, распевая гортанно какие-то гимны, сочиненные еврейскими пиитами в честь русского народа, с которым они чувствовали связь, несмотря ни на что.

Вскоре после прибытия в Вильно Александр получил письмо от Адама Чарторижского, выжидавшего исхода кампании 1812 года. Убедившись в разгроме французской армии, он

теперь спешил возобновить свою связь с Александром, уговаривая победителя создать независимое польское королевство. И на этот раз Александр отвечал вполне доброжелательно: *"Польше и полякам нечего опасаться от меня какой бы то ни было мести. Мои намерения по отношению к ним все те же... Успехи не изменили ни моих идей относительно вашего отечества, ни моих принципов вообще, и вы всегда найдете меня таким, каким вы знали меня"*.

Адам Чарторижский, ободренный ответом Александра, явился в главную квартиру императора, чтобы сопутствовать ему в походе и влиять на него в интересах Польши. Иностранцы вообще опять окружили Александра. Кутузов был болен. Император сам заходил к нему для совещаний, стараясь выказать уважение к тому, кто был в глазах русских героем. Но это было трудно Александру. Он спешил перенести наступательные действия за Эльбу, а Кутузов уверял, что армия еще не готова к походу. *"Самое легкое дело идти теперь за Эльбу, - сказал он однажды, - но как воротимся? С рылом в крови"*.

Но наступали события, помешать коим не могла уже старческая рука суворовского генерала. Пруссия присоединилась к России, мобилизуя армию. Фридрих-Вильгельм отдал свои войска в распоряжение Кутузова. В Силезии немецкое население устроило восторженные овации полководцу. Александр вручил старику лавровый венок, который поднесли ему в Штейнау. Но это был надгробный венок. Как известно, Михаил Илларионович Кутузов умер 16 апреля 1813 года.

Со смертью Кутузова окончилась так называемая "Отечественная война". Началось нечто иное. Кутузов и Александр были представителями двух противоположных психологий. Кутузов был то, что называется земский человек. Он был связан органически с землей, с населением, с традициями России. В нем были все достоинства и недостатки этого типа. Его любили солдаты, потому что в нем было что-то мужицкое, простое и чуть-чуть лукавое. У него было звериное чутье, и врага он чуял по-звериному. Он, как медведь, когда был сыт, никому не был страшен. Но горе тому, кто поднимал его из берлоги. Идти на врага с какими-то отдаленными целями он не хотел и не мог. Непосредственно защищать Россию он согласился, когда Бонапарт пошел на Москву, но проливать мужицкую кровь в каких-то для него непонятных общеевропейских интересах казалось ему сумасбродством.

Не таков был Александр. Он был чужд народным массам. Мужиков он не знал вовсе. Не понимал их. В этой его отчужденности от земли была его драма, и она привела его к печальному концу. Однако нет в истории бессмысленных событий. И то, что Россия стала во главе кампании 1813-1814 годов, имело свой объективный смысл.

XVII

"Двенадцать лет я слыл в Европе посредственным человеком, посмотрим, что они скажут теперь", - говорил Александр в Париже в 1814 году. Самолюбие Александра в самом деле могло теперь насытиться. Так называемое европейское общество приветствовало его как руководителя победоносной кампании, приведшей к низложению Наполеона. Все льстили

Александр, называя его Агамемноном новой Илиады. Но чем больше было блеска вокруг его имени, тем больше он сомневался в своем праве на это исключительное положение. Оставаясь наедине с самим собой, он старался дать себе отчет в событиях этого года, но воспоминания теснились в странном беспорядке, и трудно было подвести итоги тому, что совершилось.

Александр мерещился тот яркий солнечный день, когда он с королем прусским въезжал торжественно в Дрезден при радостных криках саксонцев; он вспоминал, как он гулял по Дрездену и толпа теснилась вокруг него, и потом - эти мучительные воспоминания о Люценских полях, куда явился Наполеон с новой армией, заявив, что он теперь открывает кампанию не как император, а по-старому - как генерал Бонапарт. И союзники были разбиты этим генералом. Александр вспоминал эту жуткую ночь, когда он при свете фонаря пробирался среди раненых и мертвых в тыл армии; он вспоминал, как ему пришлось еще до рассвета разбудить Фридриха-Вильгельма и объявить ему печальную новость о необходимости отступить и как злополучный король восклицал малодушно: *"Это мне знакомо... Я вижу себя в Мемеле"*.

Александр вспоминал о том, как ему доносили, что 30 апреля Наполеон въехал в Дрезден при громе пушек и колокольном звоне, и толпа приветствовала его совершенно так же, как незадолго до того Александра. Потом - новая неудача союзников в Бауцене. И опять пришлось утешать неутешного прусского монарха. Все это было мучительно и стыдно. А сражение под Дрезденом! Эта страшная бурная ночь, когда холодный дождь, казалось, хочет затопить армию, и этот день 15 августа, когда в нескольких шагах от него, Александра, был убит ядром генерал Моро, - как все это было ужасно!

Александр думал, что победы и поражения зависят не столько от искусства полководцев, сколько от загадочных, незримых сил, какие влияют на дух войска. А воспоминания теснились в душе неудержимо. Победа под Кульмом! Александру представилось, как после сражения мимо него вели тысячи пленных, и наконец показался генерал Вандамм. Да, это была незабываемая сцена. Александр покраснел, вспомнив грубость брата Константина и свою запальчивость. Этот генерал сделал масонский знак, и Александру пришлось изменить свой тон по отношению к брату-каменщику. Пленному генералу были гарантированы почет и удобства.

Союзные монархи были плохими помощниками Александру. Император Франц больше интересовался музыкой, чем битвами. И после Кульмской победы, когда его дворец в Теплице должен был занять штаб принца Леопольда, этот меломан с совершенным равнодушием к успеху союзников любезно уступил свое помещение, сказав: *"И прекрасно, мы можем продолжать нашу игру внизу"*. У него была в это время в руках скрипка. Он играл с друзьями какое-то трио.

Александр завидовал этому любителю музыки. Но сам он не мог даже мечтать о личной жизни. Он чувствовал себя во власти событий и фатально подчинялся этой власти. Странное спокойствие им овладело. Ему теперь самому казалось удивительным то хладнокровие, какое он проявил под Лейпцигом. Все колебалось. Генералы смутились и готовы были к отступлению, и, если бы Александр растерялся, сражение было бы проиграно. Впервые все признали Александра полководцем и добровольно ему подчинились. Но сам он чувствовал,

что им руководит нечто ему самому не совсем понятное. Эта "помощь свыше", как он верил, обеспечивала ему успех. Трехдневная "битва народов" и победа союзников - разве это не апофеоз событий, смысл коих будут разгадывать потомки? И в этом сражении Александр мог быть убит: гранаты разрывались у ног его лошади. Тогда он убедился, что ему не так уж страшна смерть.

И вот Наполеон уводит свою армию за Рейн. Александр вспомнил свое пребывание во Франкфурте. Теперь он был властелином Европы. Короли и принцы толпились в его приемной, волнуясь и дрожа за свои короны и прерогативы. Александр был на вершине своей славы, но он знал, что все это *"суета сует и всяческая суета"*. Он, Александр, не забыл взять с собою в поход Библию и, ложась на свою жесткую постель с твердым валиком под головой вместо подушки, всегда читал эту удивительную книгу, назидательную для всех - для нищих и богатых, рабов и царей.

Однако эти чтения таинственной книги несколько не поколебали в Александре тех "жениевских" идей, какие были ему внушены когда-то Лагарпом. В конце 1813 года император удосужился послать своему воспитателю дружеское письмо, где, между прочим, он писал: *"Прежде, чем окончить это письмо, скажу вам, что если, при помощи провидения, некоторые настойчивость и энергия, которые я имел случай выказать в течение двух лет, могли быть полезными делу независимости Европы, то этим я обязан вам и вашим наставлениям. Воспоминание о вас в трудные минуты, которые мне приходилось переживать, никогда не покидало моей мысли, и желание оказаться достойным ваших забот, заслужить ваше уважение являлось поддержкой для меня. Вот мы с берегов Москвы очутились на берегах Рейна, который перейдем на-днях"*.

Это перенесение войны на территорию Франции было, как известно, следствием настойчивости Александра. Союзники не желали этого. Даже Англия предпочитала сохранить во Франции правительство Наполеона. Но Александр помнил те уроки, какие давал ему в Тильзите Бонапарт. Александр помнил, что корсиканец открыл ему свое заветное убеждение - для него, Наполеона, царствовать это значит воевать и завоевывать. Наполеон в качестве мирного монарха невозможен и немислим. Но у русского императора была иная идея: *"Возвратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями, поставить как их всех, так и нас под охрану общего союза, охранить себя и защитить их от честолюбия завоевателей, - таковы суть основания, на которых мы надеемся с божией помощью утвердить эту новую систему. Провидение поставило нас на дороге, которая прямо ведет к цели. Часть ее мы уже прошли. Та, которая предстоит нам, усеяна большими трудностями. Надобно их устранить"*.

Эта "система", которая казалась Александру "новой системой", на самом деле не так уж была нова. Каковы были следствия этой романтической утопии, мы теперь знаем. Сладостные слова о мире всех народов остались красивыми словами. Но Александр искренно верил тогда в необходимость восстановить "европейскую систему" для блага наций.

И вот наступил январь 1814 года. Союзные войска идут на Париж. Но как не похожа эта кампания на обычные завоевательные походы! Император Александр как будто прежде всего заинтересован в том, чтобы очаровать и обольстить врага. Приказы по армии то и дело твердят о том, что солдаты должны быть великодушны к Франции. Не только мирные

граждане, но и солдаты-пленные - предмет чрезвычайной заботы этого государя. Касльри доносил графу Ливерпулю о странном, по его мнению, поведении русского монарха. *"В настоящее время, - писал он, - нам всего опаснее рыцарское настроение императора Александра. В отношении к Парижу его личные взгляды не сходятся ни с политическими, ни с военными соображениями. Русский император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности, для того, чтобы противопоставить свое великодушное опустошению собственной его столицы"*.

Однако Александр не только озабочен своей широкой филантропией. Он очень внимательно и настойчиво следит за планом и действиями кампании. Он старается согласовать мнения полководцев и королей. Его признают безмолвно главным руководителем похода. Он поражает всех своей неутомимостью. Иногда он, получив важные донесения, встает ночью и будит королей и генералов и, сидя на постели полусонного союзника, объясняет ему те или другие свои предположения и добивается нужного согласия.

Зачем он ведет в Париж эту союзную армию? Низвергнуть Бонапарта? Чего ему надо? Не хочет ли он посадить на трон Франции Бурбонов? В штаб Александра проник агент павшей династии Витроль. Он явился к императору, как роялист, полный надежды. Но он был в отчаянии после свидания с русским монархом.

Александр сказал ему: *"Разумно организованная республика более соответствовала бы французскому духу. Идеи свободы не могли развиваться безнаказанно в течение столь долгого времени в стране, подобной вашему отечеству"*.

"Вот до чего мы дожили, о боже, - восклицает в своих записках обескураженный Витроль. - Император Александр, царь царей, соединившихся для блага вселенной, говорил мне о республике".

Как развивались военные действия, как дрались войска союзников с Бонапартом - при Шампобере, Монмерайле, Шато-Тьерри, Арсисе на Оби всем известно. 19 марта 1814 года союзники вошли в Париж.

Император Александр рассказывал впоследствии А. Н. Голицыну о том, что у него было в душе перед взятием Парижа: *"В глубине моего сердца, - говорил он, - затаилось какое-то смутное и неясное чувство ожидания, какое-то непреодолимое желание передать это дело в полную волю божию. Совет продолжал заниматься, а я на время оставил заседание и поспешил в собственную комнату; там колени мои подогнулись сами собой, и я излил перед господом все мое сердце"*. По-видимому, то мистическое чувство, которое овладело Александром в 1812 году, не покидало его теперь.

Но едва ли многие были посвящены в это душевное настроение русского императора. До его души никому не было дела. Для уличной толпы он был красивый молодежавый человек в вицмундире кавалергардского полка, на сером коне, подаренном ему когда-то Наполеоном; для государей он был счастливый соперник; для дипломатов - искусный дипломат; для стратегов - удачливый дилетант военного ремесла... Но прежде всего он был в глазах большинства либеральный монарх, который удивлял своим вольнодумством парижан. В салоне госпожи Сталь он рассуждал об отмене невольничества и крепостного права. "С

божьей помощью, - говорил он, - крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование" (avec l'aide de dieu, le servage sera aboli sous mon gouvernement meme...).

Он очень неохотно согласился на монархию Бурбонов и то после фальсифицированного мнения нации, будто бы пожелавшей реставрации. *"Бурбоны, - сказал он, - неисправившиеся и неисправимые (non corriges et incorrigibles), полны предрассудков старого режима".* И не будь Александра, Франция не получила бы и той жалкой конституции, какую она получила. Либерализму Александра не было никакой поддержки. Он жил на улице Сен-Флорентен, в доме у Талейрана, опутанный целой сетью интриг. Ему приходится отдавать немало душевных сил и умственного внимания для переговоров с Наполеоном, который ждал в Фонтенебло своей участи. Александр был весьма озабочен тем, чтобы, удаляясь на остров Эльбу, Наполеон не потерпел в пути каких-либо оскорблений или хотя бы даже неудобств. Он также заботился о том, чтобы французские офицеры были наилучшим образом обеспечены во всех отношениях.

Нельзя того же сказать о русских солдатах. Упоенный своей европейской популярностью и парижскими успехами, император Александр забыл в странной рассеянности о судьбе русских мужиков, которых он вел через всю Европу, чтобы победить при их помощи своего страшного соперника. Теперь дело было сделано. А победители были заперты в казармах. Их плохо кормили, обременяли нарядами, и при случайных столкновениях с французами русские всегда оказывались виноватыми. Офицеры также были недовольны тем предпочтением, какое Александр оказывал иностранцам. Впрочем, и солдаты, и офицеры, несмотря на невзгоды, успели научиться в Париже кое-чему, и теперь они по-новому смотрели на своего императора.

XVIII

Александр праздновал в Париже свою победу над Наполеоном. Перед ним в его воспоминании проходили торжественные декорации сражений. Короли и принцы, старый император Франц и его коварный дипломат, полководцы и министры - весь этот блестящий сонм привилегированных Европы стоял перед глазами Александра, как театральный апофеоз. Но эта пышная феерия не могла скрыть от его глаз черные провалы кулис. Там было совсем иное. Вот, например, какое "донесение" показал ему после Лейпцигской битвы барон Штейн:

"По пути туда, - пишет знаменитый германский врач Рейль, - я встретил бесконечные обозы с ранеными. Их везли на открытых телегах. Они были навалены горами, без сапог, без всякого прикрытия, точь-в-точь как возят на убой телят мясники. За повозками тянулись страдальцы, не нашедшие себе места на них, в том числе многие тяжело раненные, с простреленными и оторванными членами. И в этот день, т. е. ровно через неделю после вечно памятной битвы народов, находили на поле сражения людей, неискоренимая жизненная сила коих не могла быть разрушена ни ранами, ни ночными морозами, ни голодом.

В Лейпциге я нашел около двадцати тысяч раненых и больных воинов всех наций. Необузданнейшая фантазия не в состоянии набросать картину, представившуюся мне.

Самый крепкий человек не в состоянии созерцать эту ужасную панораму. Я представлю вам лишь немногие черты страшного зрелища, черты, которые я могу засвидетельствовать как очевидец. Наши раненые размещены в таких местах, где я не решился бы поместить и больных собак. Они лежат или в глухих подвалах, где воздух не содержит в себе и такого количества кислорода, которое необходимо для пресмыкающихся, или в школьных помещениях с выбитыми стеклами, или в холодных церквях, где холод растет по мере того, как уменьшается испорченность воздуха, или наконец, подобно некоторым французам, прямо на дворе, где небо служит вместо кровли, где раздаются вопль и скрежет зубов. В одном месте больных умерщвляет спертый воздух, в другом - их истребляет мороз.

Несмотря на недостаток общественных зданий, не подумали отвести под госпитали хотя несколько частных домов. Ни одной нации не отдано предпочтение. Все бедствуют одинаково... Нет даже соломы, на которую можно было бы уложить раненых... Одна часть их уже умерла, другая умрет наверно. Их члены страшно распухли как бы вследствие отравы и поражения антоновым огнем. Больные гниют в собственных нечистотах..."

"Закрываю мое донесение ужаснейшим зрелищем, при одном воспоминании о котором мороз пробегает по жилам. На открытом дворе городской школы я увидел целую гору, состоящую из всевозможных отбросов и голых обезображенных трупов наших воинов. Они валялись тут, как останки преступников и разбойников. Их пожирала на виду у всех вороны и собаки. Так ругаются над телами героев, падших за отечество".

Наполеон любил осматривать поля сражений. Мрачный вид трупов и смрадный запах несколько его не смущали и даже как будто доставляли ему какое-то странное удовлетворение. Александр никогда не мог привыкнуть к этим зрелищам. Наполеоновской цельности в его душе не было никогда.

Кроме этих страшных язв войны, этой грубой и явной несправедливости, Александра смущала та ужасная ложь и бесстыдная корысть, которыми обычно руководствовались политики всех рангов и всех национальностей. Весь путь от русской границы до Парижа был страдальческим путем не только военной борьбы с Бонапартом, но и мучительной борьбы с союзниками и интриганами. Во главе этих интриг стояли Меттерних и австрийские полководцы. Сколько было из-за них проиграно сражений! Сколько было загублено жизнью! Всегда безупречный в личном обращении, владевший собою, как рыцарь, мягкий и ласковый, под конец походов император так был нравственно утомлен, что окружающие не узнавали в нем прежнего Александра. Малейшее противоречие выводило его из себя. Он сделался вспыльчив и нетерпелив. Князь Волконский писал К. Ф. Толлю, что жить с императором все равно, "как на каторге". Все дрожат ежеминутно от его гнева.

В Париже Александр снова овладел собою. Обворожительная улыбка опять появилась на лице "северного Тальмы". Но в глубине его души осталось, кажется, навсегда презрение к людям. Однажды он сказал сам: "Я не верю никому. Я верю лишь в то, что все люди - мерзавцы". Такое убеждение естественно могло сложиться у человека, имевшего дело с Меттернихом, Талейраном и сотнями иных негодяев. С волками жить - по-волчьи выть.

И русский император доказал в свою очередь, что у него немалые "дипломатические" таланты. Наполеон даже на острове Св. Елены говорил про него: "Александр умен, приятен,

образован. Но ему нельзя доверять. Он неискренен. Это - истинный византиец, тонкий притворщик, хитрец". По словам Шатобриана, "искренний, как человек, Александр был изворотлив, как грек, в области политики". А шведский посол в Париже Лагербиельне говорил, что в политике Александр "тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская".

Итак, осенью 1814 года открылся большой спектакль европейской дипломатии - Венский конгресс. Александр играл на этих подмостках не последнюю роль, соперничая с Меттернихом и Талейраном.

Блеск венского двора и международного дипломатического корпуса был необычаен. Австрийскому правительству обошлось "представительство" на этом конгрессе в несколько миллионов рублей и пришлось увеличить промысловые налоги вдвое, так что во время эффектных прогулок за город, когда коронованные особы, светские дамы и дипломаты, щеголяя роскошью, показывались публике, рабочие и ремесленники кричали в лицо этим вершителям высокой политики не слишком приятные приветствия, похожие на оскорбления.

Тем не менее конгресс веселился. Кто-то сказал по этому поводу: *"Конгресс танцует, но стоит на месте"* (le congres danse, mais ne marche pas). Танцевал и Александр, обольщая венских красавиц. Однако международная интрига была в полном разгаре.

Бывший прелат, шестидесятилетний Талейран, сам говоривший о себе, что *"с своей кривой ногой он похож на ту черепаху, которая обогнала зайца"*, орудовал на конгрессе и дурачил противников, хотя и был представителем побежденной стороны. Он брал взятки с королей и принцев, обещая свое содействие соперникам. Не менее бесстыден был Меттерних. Австрийская империя, самая фальшивая из империй, когда-либо существовавших, лишенная вовсе самостоятельной духовной культуры, вся сотканная из многообразных национальностей и сильная единственно своей последовательной системой деспотического бюрократизма, была достойно представлена Меттернихом. Этот человек не хотел ничего, кроме сохранения во что бы то ни стало того режима, который был его режимом. Он воспитался на идеях энциклопедистов, но сделал из этих идей на первый взгляд неожиданные выводы, впрочем, не менее с этими идеями согласованные, чем всякого рода либерализм, если взглянуть на них поглубже. Меттерних понял, что вольнодумцы XVIII века, освобождая человека от всякого авторитета, никак уж не могут обижаться, ежели человек объявит себя сторонником того порядка, какой будет ему по вкусу, не руководствуясь никакими соображениями о так называемом "общем благе". Меттерниху был по вкусу австрийский порядок. Этот бесподобный реакционер желал ввести австрийскую систему повсюду, ибо чувствовал, что реакция может быть прочной лишь при круговой поруке всех держав.

Вот с какими людьми приходилось иметь дело Александру. В сущности только эти три человека - Меттерних, Талейран и Александр - вершили тогда все дела. Русский император чувствовал себя в центре мировых событий. Было от чего закружиться голове. Само собою разумеется, что, имея дело с такими хитрецами, как Талейран или Меттерних, приходилось и самому хитрить. Опыт юности, эта невольная лукавая политика по отношению к бабушке и к отцу, теперь пригодился Александру. Недоброжелатели приписывали ему еще одну черту - тщеславие. Французский посол граф Лафероне говорил об Александре: *"Самые*

существенные свойства его - тщеславие и хитрость или притворство; если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину".

В хитрости Александра в самом деле было что-то женское. Он сам, должно быть, сознавал это в себе. Однажды, когда речь зашла об его сходстве с сестрой Екатериной Павловной, Александр удалился на полчаса и вернулся к обществу в женском наряде. Этот маскарад его забавлял. Он был удивительно похож на женщину. Те хитрости, которые он применил в начале Венского конгресса в борьбе с Меттернихом, были женские хитрости. Желая вывести тайны лукавого дипломата, он овладел симпатиями сначала княжны Багратион, бывшей любовницы Меттерниха, а потом симпатиями герцогини Саган, к которой как раз в эпоху конгресса питал особую нежность сластолюбивый австрийский князь. Известно, что будущие творцы Священного Союза ознакомились с его отношениями в ту пору самой скандальной ссорой, и Меттерних в своих мемуарах, весьма, впрочем, лживых, уверял даже, что Александр вызывал его на дуэль.

Венский конгресс, длившийся несколько месяцев, не представлял собою политического конгресса в точном смысле этого слова. Все дела решались на балах, раутах, маскарадах, а иногда в дамских салонах и даже в будуарах сомнительных прелестниц. Если выдающиеся деятели эпохи были столь безнравственны, как Меттерних и Талейран, то что сказать о прочих ничтожествах *"более или менее коронованных"*, как выразился впоследствии по другому поводу поэт Тютчев. Здесь были собраны титулованные монстры со всех концов Европы. Веселились и развратничали с увлечением людей, давно лишенных возможности предаваться обычным для них наслаждениям.

Еще бы! Наполеон своей бесцеремонной рукой солдата так беспощадно сбивал короны с этих когда-то самоуверенных голов. Все эти короли и герцоги, испуганные революцией, так долго дрожали потом в страхе перед первым консулом, а потом странным императором, вовсе не похожим на людей голубой крови. И вот теперь они облегченно вздохнули. Народы безмолвствовали, а привилегированные, мечтая о восстановлении феодально-дворянского порядка, торопливо делили наследство Бонапарта.

Александр, пожалуй, был менее циничен в этом алчном дележе. Международные грабители довольно успешно распределяли территории и население. Этому помогали миллионные взятки, которые брали министры и дипломаты у менее ловких герцогов и королей. Труднее всего было уладить дело с Польшей. Александр настаивал на присоединении к России Варшавского герцогства с самостоятельной конституцией. Ему не удалось, однако, объединить все польские земли под своей короной. Австрия и Пруссия оставили за собою: первая - Галицию, вторая - Познань. Было и другое затруднение. Все государи восстали против наделения Царства Польского особой конституцией. Это было бы дурным примером для поработанных наций. Но Александр в этом пункте был непоколебим.

В результате Россия, более прочих держав пострадавшая от войны, получила наименьшее вознаграждение. Австрия получила территорию с десятью миллионами населения, Пруссия - с пятиmillionным населением, а Россия приобрела три миллиона новых граждан, к тому же весьма сомнительных в отношении их государственной полезности. Но весь этот дележ алчных победителей мог вовсе не состояться. Карту Европы чуть было не пришлось перекраивать на новый лад.

В самый разгар политического и нравственного разврата получено было в Вене потрясающее известие. Наполеон покинул Эльбу и высадился с горстью храбрецов на южном берегу Франции. Надо представить себе при этом известии героев тогдашней Вены. Что было написано на их физиономиях? Тут были ведь не только Гамлеты и Макбеты... Тут были и комические персонажи: какой-нибудь король виртембергский, у которого живот спускался складками до самых колен; или гессенский курфюрст, наводивший на всех ужас не только язвами на своем лице, но и чудовищными своими пороками; или датский король, с типичной наружностью альбиноса, смешивший венское общество своими провинциальными манерами... На лицах всех этих коронованных каботэнов был написан смешной страх. Как будто наследники, только что закопавшие в могилу богача, вдруг увидели, что земля раскрылась, и вылез из гроба мертвец и грозит им своей костлявой рукой.

Александр, которому надоели все эти вырождающиеся титулованные особы, ухаживал в это время за хорошенькими венками и, нарушая демонстративно этикет, вел себя непринужденно, как будто он частный человек, а не самый могущественный из государей Европы. И вдруг весть о том, что раздался клич Бонапарта: ***"Солдаты! Орел с национальным знаменем полетит от одной колокольни к другой, до башен Нотр-Дам в Париже"***. Испуганный Меттерних, уже несколько недель делавший вид, что он не замечает царя, прибежал теперь к нему, забыв прелести герцогини Саган.

Страх перед неистовым корсиканцем опять всех объединил, и соперники опять стали союзниками.

Людовик XVIII, который еще недавно чванился перед посадившим его на трон Александром и дулся на него за то, что он, самодержец в своей собственной стране, заставил его, Бурбона, подписать "хартию вольностей", теперь позорно бежал из Тюильри, узнав о том, что Наполеон идет на Париж, и армия встречает его с восторгом. Впопыхах этот помазанник забыл на своем столе тайный договор, заключенный им с Англией и Австрией и направленный против России. Наполеон, конечно, поспешил прислать Александру этот документ в надежде, что русский император, узнав о том, что Меттерних мечтал всадить ему в спину нож, поспешит порвать с австрийским предателем. Но Александр, пригласив Меттерниха к себе, показал ему этот документ и бросил бумагу в камин. С этого часа они старались не ссориться друг с другом.

Всем известно, какие события отметила тогда бесстрастная Клио. Александр вторично въехал в Париж. Этот въезд не был таким веселым, как первый, и русский император, обидевшись на непостоянство парижан, на сей раз не очень защищал город от притеснений и оскорблений разъяренных немцев. А Наполеона увезли англичане на остров Св. Елены, чтобы он там на досуге диктовал свои мемуары.

XIX

Наполеон побежден. Европа свободна. Александр, увенчанный лаврами, возвращается в Россию. Но странное дело - эти лавры и эта победа нисколько не радуют Александра.

Напротив, он стал меланхоличнее и суровее. В семейном кругу Александра называли прежде *"кротким упрямым"* (le doux entete), но теперь едва ли кто-нибудь решится назвать его кротким.

Михайловский-Данилевский, находившийся при государе, записал у себя в дневнике 1816 года: *"В десять часов утра его величество гулял по саду и семь раз прошел мимо моих окон. Он казался веселым, и взгляд его выражал кротость и милосердие, но чем более я рассматриваю сего необыкновенного мужа, тем более теряюсь в заключениях. Например, каким образом можно соединить спокойствие души, начертанное теперь на лице его, с известием, которое мне сейчас сообщили, что он велел посадить под караул двух крестьян, которых единственная вина состояла в том, что они подали ему прошение"*.

Декабрист И. Д. Якушкин рассказывает в своих записках, как в 1814 году, когда гвардия вернулась в Петербург из похода, он наблюдал торжественный въезд царя. *"Наконец, - пишет он, - показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей... Мы им любовались. Но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет. Я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако же, не могла видеть мыши, не бросившись на нее"*.

Не один Якушкин разочаровался тогда в императоре Александре. Но и сам Александр был разочарован и в людях и в идеях. Не то, чтобы он перестал верить в те идеалы, какие были ему внушены с детства Лагарпом и прочими ревнителями философии энциклопедистов, но вера эта стала теперь какой-то отвлеченной и сухой. Александр думал теперь, что идеалы весьма почтенные - сами по себе ничто, а вся суть в том, как складывается реальная жизнь, а это часто не зависит от нашей доброй воли. Вот, например, Александр думал ранее, что республика лучше монархии и что всякую автократию нужно ограничить конституцией, он и теперь в этом не сомневается, но он теперь знает очень хорошо, что не так уж просто применить к делу эти либеральные идеи. *"Я люблю конституционные учреждения, - говорил он когда-то Лафероне, - и думаю, что всякий порядочный человек должен любить их. Но можно ли вводить их безразлично у всех народов? Не все народы готовы в равной степени к их принятию"*.

Александр думал, по-видимому, что западные народы созрели для правопорядка, но он сомневался, созрел ли для него русский народ. Тот патриотизм, который, по уверению многих историков, овладел душой монарха в 1812 году, был патриотизм особого рода. Любовь к России для Александра вовсе не отождествлялась с любовью к русскому народу. Русский народ - это тот дурашливый мужик, который всегда не вовремя появляется на дороге и мешает эффектно салютовать шпагой перед золотой каретой императрицы. Полиция бьет палками этого мужика. Так и надо, ибо иначе его не подготовишь к либеральной конституции.

Конституция уместна там, где вообще есть гражданственность, порядок, грамотность, добрые нравы. В России этого нет. Он, Александр, хотел заняться этими хорошими вещами, но помешал злодей Наполеон. Лучшие молодые годы ушли на борьбу с этим чудовищным порождением чудовищной революции.

Но ведь революция не то же самое, что мирное либеральное развитие страны. Разве не доказал Александр своими делами, что он не враг свободы? Разве он не настоял, чтобы Людовик XVIII дал стране конституцию? А сам разве не обеспечил свободу и автономию Финляндии? А Польша? Польская конституция либеральнее французской. Правда, вся власть, согласно этой конституции, сосредоточилась в руках шляхты, а нищая крестьянская масса так и осталась бесправной, но нельзя же в самом деле "все сразу". Во всяком случае, в Польше теперь не хуже, чем в Европе, а это уже кое-что.

По-видимому, Александр не оставлял своего намерения дать в конце концов конституцию и всей России. Рассуждая с Киселевым о злоупотреблениях администрации, Александр говорил:

"Все сделать вдруг нельзя: обстоятельства нынешнего времени не позволили заняться внутренними делами, как было бы желательно, но теперь мы занимаемся новой организацией..."

"Армия, гражданская часть, все не так, как я желаю, но как быть? Вдруг всего не сделаешь, помощников нет"

Открывая весной 1818 года Варшавский сейм, в своей тронной речи Александр объявил недвусмысленно, что он намерен ограничить самодержавие на пространстве всей России, а не только ее окраин.

"Устройство, уже существовавшее в вашем крае, дозволило мне ввести немедленно то, которое я даровал вам, руководясь правилами свободных учреждений, не перестававших быть предметом моих забот, и которых благодетельное влияние, надеюсь я, с помощью божией, распространить на все страны, провидением попечению моему вверенные. Таким образом вы мне подали средство явить моему отечеству то, что уже издавна я ему готовлю и чем оно воспользуется, как только начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости"

По поводу этих заявлений Карамзин писал одному из своих друзей:

"Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят конституцию, судят, рядят, начинают и писать в "Сыне Отечества", в речи Уварова иное вышло, другое готовится. И смешно, и жалко..."

По-видимому, эти варшавские речи иных обрадовали, а иных напугали не на шутку. Для этого испуга были основания. Теперь мы знаем, что в 1818 году Новосильцевым был составлен одобренный Александром план конституционного устройства России. Но помещикам казалось, что у нас конституция не пройдет так гладко, как в Польше, где крестьянская масса была покорнее овец. Итак, одним снилась "конституция", а другие

страшились ее, памятуя о Пугачеве, который потрянул Россией еще при Екатерине. Все эти толки и опасения стали известны Александру. И Сперанский, возвращенный тогда из ссылки и назначенный пензенским губернатором, разделял, по-видимому, опасения многих.

"Вам, без сомнения, известны, - писал он, - все припадки страха и уныния, коими поражены умы московских жителей варшавской речью"...

"И хотя теперь все еще здесь спокойно, но за спокойствие сие долго ручаться невозможно..."

Опасность оказывается в том, что составилось "общее в черном народе мнение, что правительство не только хочет даровать свободу, но что оно уже ее и даровало, и что одни только помещики не допускают или таят ее провозглашение..."

"Что за сим следует, вообразить ужасно, но всякому понятно..."

Если такие просвещенные люди, как Сперанский и Карамзин, не видели ничего доброго в ограничении самодержавия, чего можно было ждать от самого самодержца, у которого к тому же было самое грустное впечатление от тогдашних нравов? Вернувшись из Европы, Александр нашел в стране чудовищный развал администрации и хозяйственных дел. Он убедился воочию, что чиновники грабят население бесстыдно, что из пятидесяти двух губернаторов нет и пяти честных и порядочных, что все правительственные, ученые и научные учреждения империи - как малый оазис в пустыне темного невежества. Так, по крайней мере, казалось Александру, европейцу по своим вкусам и воспитанию. Из этого Александр сделал тот вывод, что в России нет -еще людей, пригодных для насаждения гражданственности.

У Александра не было склонности и умения увидеть и почувствовать мужицкую Россию. Конечно, эта многомиллионная Россия была вовсе не цивилизована в европейском смысле, но, однако, в ней уже сложилась своя древняя культура. Александр, вероятно, никогда не слушал сказителей былин, не любил народных песен, не видел хороводов и плясок, не замечал изумительного талантливой быта, а главное, до его слуха не дошла та речь, русская речь, тот язык, полный красок и гармонии, богатейший и гениальный язык, который Арина Родионовна бережно вручила Пушкину как залог великого будущего России. Правда, Александр благосклонно прочел стихи молодого поэта "Деревня", из коих запомнил сочувственно иные строки:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца; Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, Здесь рабство тощее влачится по браздам Неумолимого владельца...

"Поблагодарите Пушкина, - сказал он по-французски князю И. А. Васильчикову, который вручил царю стихи, - поблагодарите его за добрые чувства, какие он внушает своими стихами".

Стихи, однако, по цензурным условиям при жизни Александра в печати не появились, и "добрые чувства" поэту не пришлось тогда внушить согражданам. А потом Пушкин стал писать иные стихи. Они уже не пришлись по вкусу сентиментальному государю, и он повелел строптивому поэту выехать на юг, подальше от столицы.

Пушкин не любил Александра. Поэт славил императора как участника мировых событий, но он не чувствовал в нем ничего для себя близкого. И немудрено, ибо трудно найти людей более противоположных, чем они. Пушкин всегда прислушивался к голосу национальной стихии. Александр не различал гармонии в этом гуле народной жизни. Ему нравились чувствительные песенки, какие распевают белокурые немки на берегах Рейна. Туда бы ему уехать! Там бы ему поселиться подальше от этих жутких и непонятных русских мужиков, которые как будто на все способны - и на Пугачевский бунт и на Бородинскую битву. В годовщину Бородина, когда Александру напомнили об этом, он отвернулся, хмурясь. Ему тяжело было вспомнить об этой битве, об этой мужицкой кутузовской тактике, осужденной немецкой военной наукой.

Иные называли Александра сфинксом. Его душа была непонятна в своих противоречиях. Легко было объяснить его двусмысленное поведение жалким лицемерием и природной лживостью, но это - слишком простое объяснение слишком сложного факта. Пушкин высказывал противоречивые оценки личности Александра. В 1829 году, будучи на Кавказе, он увидел однажды мраморный бюст императора. Кто-то обратил внимание его на то, что брови царя нахмурены, а на губах улыбка. Это дало повод поэту написать его известную эпиграмму:

Напрасно видят тут ошибку: Рука искусства навела На мрамор этих уст улыбку И гнев на хладный лоск чела. Недаром лик сей двуязычен; Таков и был сей властелин: К противочувствиям привычен, В лице и в жизни арлекин.

Да, если угодно, император Александр был в каком-то смысле арлекином. Но какая это была трагическая арлекинада! Он сам, как умный человек, понимал двусмысленность своих дел и мнений, но не была ли причина этой двусмысленности в объективных условиях тогдашней императорской власти? Александр искренно хотел быть либералом, и многие, окружавшие его, не прочь были воспользоваться этим настроением государя, но при том условии, чтобы этот либерализм не простирался далее тех или иных социальных группировок, в коих они были заинтересованы. Вот почему даже такие друзья его "якобинской" молодости, как Кочубей, отговаривали императора спешить с освобождением крестьян. А ведь были и такие, как Шишков, который сам в своих записках рассказывает, как Александр в манифесте 1814 года повелел выбросить те фразы, где знаменитый крепостник говорил о связи помещиков и крестьян, "на обоюдной пользе основанной". По свидетельству Шишкова, Александр сказал: "Я не могу подписать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен".

Александр был очень точен и аккуратен. Его мундир был безукоризненно сшит. Он никогда не появлялся даже в домашней обстановке небрежно одетым. Его письменный стол был в идеальном порядке. Бумаги, которые он подписывал, всегда были одного формата. Он любил симметрию до странности. В комнате расставлялась мебель по строгому плану. *"Однообразная красивость"* военных парадов всегда неудержимо влекла его к себе. Вид немецких городов был ему более по вкусу, чем наших российских. Там больше было симметрии. И пейзаж немецкий был как-то правильнее и пристойнее, чем унылость наших худо обработанных полей или сумрак наших дремучих лесов. Там, на Рейне, все более походило на какие-то милые, давно знакомые картинки в книгах, выписанных когда-то для юного Александра из-за границы добродетельным швейцарцем. Немецкие ландшафты так невинны! Но разве можно разгадать угрюмые сны нашего дикого севера или золотую беспредельность южных степей? Москва, с ее полуазиатским стилем, неприятна Александру. Петербург симметричен и более похож на европейские столицы, но тут ужасные воспоминания, наводящие мучительную тоску. Проезжая мимо замка, построенного Павлом, Александр всегда закрывал глаза. Нет, страшно жить в этом суровом, надменном городе, с великолепным его ампиром. В этом городе есть что-то безумное, жестокое и холодное. А так хочется мира и покоя! И не думать бы вовсе об этих призраках прошлого...

Надо побольше впечатлений - и, если нет войны или конгресса, надо ехать куда-нибудь, чтобы видеть новое, и ехать быстрее. Хорошо, что в России любят ездить, не щадя лошадей и собственного живота. Александр исколесил всю Россию. Перед ним в пестрой панораме неслась, как на крыльях, огромная многообразная Русь. Александр не останавливался подолгу нигде. Он всегда спешил куда-то, и было непонятно, зачем собственно путешествует этот странный император.

Александр тяготился тем, что в России не так все благоустроено, как в Европе. Да и в Европе не все достаточно хорошо налажено. Надо бы всем правительствам создать такой порядок, при котором каждому гражданину было отведено свое, определенное место. Пусть он работает известное время на себя, но пусть уделяет и государству, в меру своих сил, нужное время, а государство должно обеспечить ему жизнь. Должны быть дни отдыха. Пусть тогда гражданин веселится. Но и веселье должно быть пристойное и под наблюдением начальства. Надо, чтобы гражданская жизнь походила на военную. В полку каждый солдат знает свое место и свое дело. В армии все гармонично и точно. Нельзя ли как-нибудь сочетать жизнь гражданскую с этой благодетельной военной дисциплиной?

В 1812 году Александру попала французская книга генерала Сервана, который предлагал проект особых военных поселений на границах империи. Александру эта книга чрезвычайно понравилась. Он решил, что надо воспользоваться идеей французского генерала. Этот Серван как будто угадал мечту самого Александра. Вот когда будет порядок! Вот когда вместо неряшливой и неплодотворной гражданской жизни наступит стройная военная система!

Александр приказал перевести на русский язык книгу Сервана. Дело в том, что Аракчеев не понимал по-французски. а ему надо первому прочесть эту книгу. Кто же сумеет

наилучшим образом применить к России план французского генерала? Конечно, он, Аракчеев, верный "друг" царя. Царь вообще нуждался в этом своем "друге".

И какая странная "дружба" связывала этих людей? В чем была ее тайна? Кажется, тайну эту надо искать в болезненной мнительности Александра. Его глухота еще больше подчеркивала ее. Он с трудом мог слышать человека, если он сидел за столом против него. Глухие всегда мнительны. Но для мнительности Александра были основания, более важные, чем глухота. Удивительно, что не все государи страдают манией преследования. Впрочем, кажется, государей, вполне свободных от этого недуга, никогда не было. В какой-то мере болен был психически и Александр.

"Ему казались такие вещи, о которых никто и не думал, - писала в своих мемуарах великая княгиня Александра Федоровна, - будто над ним смеются, будто его слушают только для того, чтобы посмеяться над ним, и будто мы делали друг другу знаки, которых он не должен был заметить. Наконец все это доходило до того, что становилось прискорбно видеть подобные слабости в человеке с столь прекрасным сердцем и умом. Я так плакала, когда он высказал мне подобные замечания и упреки, что чуть не задохнулась от слез".

Александр был мнителен и подозрителен. Однажды Киселев, Орлов и Кутузов, стоя у окна во дворе, рассказывали друг другу анекдоты и смеялись. Мимо прошел Александр. Через десять минут к нему в кабинет вызвали Киселева. Генерал застал Александра перед зеркалом. Император тщательно себя осматривал со всех сторон. Он решил, что смеялись над ним, над его наружностью. *"Что во мне смешного? Почему ты и Кутузов с Орловым смеялись надо мною?"* - допрашивал мнительный император изумленного и растерявшегося Киселева. Генералу с большим трудом удалось убедить Александра, что дело было в анекдотах, а не в наружности Александра. Подобных случаев было немало. Императора очень беспокоила сплетня, что у него будто бы искусственные ляжки, сделанные из ваты для красоты.

"Без лести преданному" Аракчееву удалось убедить Александра, что он, Аракчеев, вернейший его раб, что все готовы предать своего государя, только он один любит его, как самого себя. Александр поверил. Ведь надо же было кому-нибудь верить. Вельможи и сановники, все без исключения, всегда старались показать, что они не глупее императора. А! Не глупее? Значит, тайно они думают, что они умнее его... Они так назойливы со своими советами! Они хотят распорядиться государством. Но кто их уполномочил на это? Ведь конституции еще нет пока...

Аракчеев никогда не решался учить Александра. Он, правда, высказывал свои мнения, но всегда лишь по частным вопросам. О высшей политике у него не было совсем своих мнений. Он был старше Александра на восемь лет, но он трепетал перед ним, как мальчишка. Входя в кабинет, он бледнел, вздрагивал и крестился, как будто он не временщик, фаворит, всесильный граф Алексей Андреевич, у которого государственные мужи, убежденные сединами, дожидаются в приемной три часа аудиенции, а робкий проситель, в первый раз попавший во дворец.

Легенду о том, что Аракчеев был вдохновителем Александра в эпоху реакции, уже разоблачили историки. Самые важные бумаги, исходившие за подписью Аракчеева, писаны по черновикам самого императора. Аракчеев был исполнителем и орудием Александра, а не его ментором. Знаменитый фаворит мог влиять на судьбу того или другого сановника или генерала, но он никак не мог влиять на политику императора вообще. У Аракчеева не было идей. У него была только душа раба. Александр правил многомиллионной рабской Россией, но это были какие-то неведомые и, кажется, строптивые рабы. А императору, несмотря на весь его либерализм, нужен был раб несомненный, убежденный и, главное, живой, близкий, тут всегда под руками. Таким безупречным рабом был Аракчеев. Для него Александр был не только "его величество", но и "батюшка". Он так и обращался к нему в письмах, ползая перед ним на коленях.

И Александр любил своего раба. И в то время, когда современники почитали его лютым извергом, царь был иного мнения. *"Злодеи вроде Балашова и Аракчеева продают такой прекрасный народ..."* - писала одна мемуаристка в трудный 1812 год. Александру, напротив, казалось, что Аракчеев печется об этом народе. Император по опыту убедился, что все окружавшие его люди корыстны и жадны. Много явных казнокрадов, немало хитрецов, склонных грабить на "законных" основаниях, а честных людей как будто вовсе нет. Аракчеев не крал. В том он в самом деле был неповинен. Он зорко стерег казенный сундук. Это внушало императору к нему особое доверие. В этом смысле Аракчеев был фаворит и временщик. Распоряжаясь людьми он мог самовластно. *"Он все давит, - писал Жозеф-де-Местр. - Перед ним исчезли, как туманы, самые заметные влияния"*. Так могло казаться, ибо под конец царствования Александр принимал почти все доклады через Аракчеева. Министрам нелегко было добиться аудиенции.

В Аракчееве была одна черта, поражавшая почти всех знавших его лично. Это - жестокость. Правда, и век, в который он жил, был *"жестокий"* век, как его заклеил Пушкин, но все же чем-то, должно быть, превзошел своих современников этот мрачный граф. *"Граф делал мне добро, но правду о нем надобно писать не чернилами, а кровью"*, - говорил Н. С. Ильинский, протоиерей села Грузина, облагодетельствованный временщиком.

Но Александр этого не замечал. Когда-то на разводах в Гатчине Аракчеев в припадках ярости вырывал у солдат усы. И однажды, чуть ли не в день воцарения Павла, откусил у одного солдата ухо. В его Грузине провинившиеся мужики ходили с рогатками на шее, а розги постоянно хранились в рассоле, в особых бочках. По словам А. М. Тургенева, "во всех сословиях общества Аракчеева называли змеем-горынычем". Но Александр ничего этого не замечал. Он любил ездить к этому жестокому графу на мирный отдых в "прекрасное" Грузине, не подозревая вовсе, что невольные холопы ненавидят этого добровольного холопа и готовят ему кровавую месть. Царь не подозревал этого. Он гулял вместе с хозяином Грузина по его великолепной усадьбе.

Александру нравился берег Волхова; он с удовольствием въезжал в это для него гостеприимное поместье, любуясь на две белые башни с дорическими колоннами у каменной пристани. Два льва сторожили вход в усадьбу. Везде эмблемы императорской власти - римские доспехи, венки и тяжелые распластанные орлы. Собор в Грузине -

простой, строгий, холодный. Внутри сделанный Мартосом памятник Павлу I. Опять римские доспехи, римский венчик, знамена, порфира, а надпись не римская: "Сердце чисто и дух прав пред тобою". Этого не может сказать про себя Александр, и он почти завидует своему любимцу. Он суеверно не отпускает его от себя. Павел расстался с этим рабом и погиб. Александр никогда не оттолкнет от себя единственного верноподданного. В первый раз Александр посетил Грузию в 1810 году, и с тех пор он постоянно приезжал сюда отдохнуть от страшных дел государства.

Аракчеев устроил для своего царственного гостя кабинет - совершенную копию с петербургского кабинета императора. И на столе были разложены симметрично письменные принадлежности, совсем как в Зимнем дворце. Аракчеев любил симметрию, как его коронованный хозяин. Ничто так не сближает людей, как общие вкусы. И дом в Грузии нравился Александру. Белые стены вестибюля расписаны античными фигурами. Музы танцуют пристойно вокруг Аполлона. Вообще все пристойно снаружи. Есть, правда, в саду беседка с какими-то секретными зеркалами, где спрятаны порнографические картины, но это все замаскировано внешним порядком и благолепием. Дисциплина, система и симметрия. Аракчеев любил издавать брошюры, посвященные Грузии. В 1818 году, например, напечатана была книжка - "В Грузии мера саду в разных местах и расстояние деревень" - с точным обозначением количества сажен от церкви до дома и всякие иные топографические сведения, до мельчайших подробностей и совершенно бесполезные.

Александр иногда заходил в аракчеевскую библиотеку. Здесь, улыбаясь, перебирал он книги своего любимца: "Нежные объятия в браке и потехи с любовницами", "Опасное стремление первых страстей", "Любовники и супруги или мужчины и женщины, и то, и се, читай, смекай и может случится и прочая тому подобная..." Надо, впрочем, отдать справедливость грузинскому помещику: кроме этих эротических книжек были и другие - духовно-нравственного содержания, а также немало было военных сочинений. Аракчеев любил военное ремесло на плацу и в кабинете, а на войне, по слабости нервов, избегал опасности.

И любовница у Аракчеева была такая же, как он: сластолюбивая и жестокая. Александр и с ней, с Настасьей Минкиной, беседовал благосклонно, не ревнуя ее к временщику. Он не подозревал, что дворовые убьют эту помещицу, и тогда Аракчеев, забыв о своем государе, покинет его в самую опасную минуту его жизни.

А между тем, Александр верил своему Аракчееву, как никому другому. 22 мая 1814 года Александр писал из Англии своему любимцу: *"Я скучен и огорчен до крайности. Я себя вижу после четырнадцатилетнего управления, после двухлетней разорительной и опаснейшей войны лишенным того человека, к которому моя доверенность была всегда неограничена. Я могу сказать, что ни к кому я не имел подобной, и ничье удаление мне столь не тягостно, как твое. Навек тебе верный друг"*.

Вот этому верному другу и поручил Александр устройство "военных поселений". В 1816 году в Новгородской губернии, где было имение Аракчеева, целая волость была обращена в военный поселок. Мужики объявлены были военными поселянами. Здесь же были расквартированы батальоны регулярного войска. Солдаты попали в положение

батраков. Мужиков тоже обрили, надели на них мундиры и заставили учиться строевой Службе. Теперь глаз Александра мог радоваться. Серые избы и плетни исчезли. На их месте стройными рядами стояли новенькие домики, все на один образец, выкрашенные в одну краску. Мужикам давали ссуды, льготы, лошадей, скот и всячески старались соблазнить их новыми порядками. Но дело не клеилось. Александр не понимал, почему эти упрямые мужики недовольны новым положением. Разве нет прямой выгоды в том, что солдаты теперь не будут оторваны в мирное время от семьи? Разве не легче будет содержать государству всю эту огромную армию, ежели она сама будет участвовать в землепользовании? Разве не лучше, наконец, весь этот новый, точно предусмотренный быт, чем старые ветхие обычаи и нравы?

Приятно смотреть на эти новые домики, похожие на прусские, симметрично расположенные, как солдаты на параде. Ничто не ускользало от недреманного ока начальников. Ни одна вдова, ни одна девица не оставались без мужей. Женихам и невестам велся учет, как животным, предназначенным для случки. Мальчишки все были зачислены в кантонисты и с десятилетнего возраста уже подчинялись аракчеевской дисциплине.

К концу царствования военные поселения устроены были не только в Новгородской губернии. На Украине было зачислено в военные поселения тридцать шесть батальонов пехоты и двести сорок девять эскадронов кавалерии. На севере числилось девяносто батальонов пехоты. Это, значит, почти треть всей армии на мирном положении. Александр восхищался успехами задуманного им дела. И на первый взгляд как будто бы успех реформы в самом деле был очевиден. Финансовая отчетность была образцовая. Аракчееву удалось скопить запасный капитал в пятьдесят миллионов рублей. В поселениях процветали и земледелие и ремесла. Начальству выносили на пробу во время ревизий жирные щи, поросят и кур - яства с трапезы поселенцев. Но эти поросята и куры, а также и вся прочая декорация военных поселений были вроде "потемкинских деревень". Но Александр верил, что все это не бутафория, а настоящее. И когда ему решались критиковать реформу, он ссылался на лестные отзывы о поселениях таких людей, как В. П. Кочубей, барон Кампфенгаузен, Карамзин и даже возвращенный из ссылки Сперанский. Они все ели жирные солдатские щи и видели собственными глазами симметрично расставленные домики, где блаженствовали солдаты-земледельцы. Во время учения начальники кричали: "Приметно дыхание! Не дышать!" И великолепно обученные солдаты переставали дышать, повинувшись командирам.

Казалось, чего лучше. Но мужикам не нравились военные поселения.

В 1819 году вспыхнул в Чугуеве среди военных поселенцев бунт. Аракчеев приехал для расправы. Шпицрутены пущены были в ход. Долго не выдавали зачинщиков, но попытка продолжалась, и в конце концов бунтовщиков усмирили. Аракчеев писал Александру: *"Батюшка, ваше величество... Происшествия, здесь бывшие, меня очень расстроили, я не скрываю от вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли, и я от всего оною начинаю уставать, в чем я откровенно признаюсь перед вами"*.

Александр, прочитав подробное донесение о чутуевском бунте, писал в свою очередь Аракчееву: *"С одной стороны, мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была претерпеть в тех обстоятельствах... С другой, - умею я также и ценить благоразумие, с коим ты действовал в сих важных происшествиях. Благодарю тебя искренно от чистого сердца за все труды"*. Однако в том же письме он предлагал своему другу *"строго, искренно и беспристрастно нам самих себя спросить: выполнено ли нами все обещанное?.."* Похвалив состояние новгородских поселений, он замечает не без огорчения: *"Не скрою от тебя, что... четыре женщины жаловались на насильное отдание их замуж за солдат"*.

По другому поводу, когда кто-то осмелился возразить императору относительно полезности военных поселений, Александр будто бы сказал: *"Военные поселения будут существовать, хотя бы для этого пришлось выложить трупами всю дорогу от Петербурга до Новгорода"*.

Сказал ли император так или как-нибудь иначе, во всяком случае несомненно, что он твердо решил довести дело до конца. Бунты усмирялись сурово, а вместе с тем Аракчеев старался не раздражать поселенцев напрасно и писал об этом Александру. Под конец наступила видимая тишина, и царь думал, что все благополучно. А на самом деле население ненавидело установившиеся порядки. В идее военных поселений был весь Александр. Та отвлеченная мысль об идеальном порядке, о благообразии быта, какая внушалась Александру еще в отрочестве, отразилась теперь на этой реформе в странном карикатурном сходстве. Это была безумная мысль о том, что можно облагодетельствовать граждан сверху, без их свободного участия в создании жизни. Мужики сами не понимали, чего им надо, а он, император, знает. Он поселит их не в серых лачугах, а в раскрашенных по-гатчински, по-прусски домиках; мужики будут сыты, одеты, обучены ремеслам и военной дисциплине; они будут счастливы без свободы... Это пока. Потом он освободит их. И вот тогда весь мир убедится, что Александр был прав. Свободные, они все останутся добровольно в этом аракчеевском эльдорадо.

XXI

Вольнодумец, равнодушный к религии, Александр впервые прочитал Евангелие в 1812 году и был поражен необычностью этой книги. Он был тогда неодинок в этом своем увлечении Новым Заветом. В этой книге для него и для многих его современников звучал какой-то призывный голос, таинственный и внушительный. Официальная церковь не внушала Александру почтения к своей деятельности. Он видел в архиереях, украшенных лентами и орденами, ревнителей все той же пышной государственности, которая досталась ему как наследие екатерининской империи. Александр и без архиереев задыхался в этом торжественном великолепии. Другой церкви он не замечал. Он не интересовался тем, как она существовала в течение двух тысячелетий. Он слышал, что были христианские апологеты, мученики, отцы церкви... Но всех этих святых заслоняли императоры и патриархи монументальной Византийской империи. Эта

огромная и тяжелая декорация не нравилась Александру, утомленному мировой политикой, в коей пришлось ему играть такую ответственную роль.

Ему не удалось осуществить своей давней мечты — уединиться в качестве простого гражданина где-нибудь на берегах Рейна. Но он еще не утратил надежды освободиться когда-нибудь от мучительной сложности истории. Ему хотелось сложность заменить глубиной. И вот в этой неожиданно обретенной им книге Александр нашел желанную глубину. И вместе с тем, как проста эта книга! Зачем ее читать нараспев среди золота и мрамора соборов? Не лучше ли забыть об официальных истолкователях книги? Не лучше ли самому прикинуть к этому простому повествованию о жизни прекрасного галилеянина и его учеников, этих добрых рыбаков, которые, вовсе не интересуясь кесарем, жили на берегу Тивериадского озера? И вместе с тем как загадочны и мудры изречения, записанные в этой книге.

Бог с ними, с архиереями в их шелковых рясах, с их семинарской ученостью. Лучше Александр будет беседовать об этой книге с князем А. Н. Голицыным. К тому же неловко как-то, беседуя с архипастырями, цитировать Евангелие по-французски, а между тем французский текст был понятнее и милее, чем эти трудные и крутые славянские обороты. Старый приятель князь А. Н. Голицын объяснил Александру, что дело не в православии, не в том или ином вероисповедании, а в нашем внутреннем личном опыте. Оказывается, есть такие духовные люди, которые, не будучи попами, одарены, однако, свыше и могут на прекрасном французском языке объяснить аллегорический смысл не только евангельских рассказов, но и смысл посланий гениального и вдохновенного Павла; эти люди могут даже истолковать очень убедительно страшные видения Апокалипсиса. Александр стал искать встречи с подобными людьми.

Одна из таких встреч произошла в 1813 году, в дни военного затишья, когда Александр удалился от главного штаба и поселился недалеко от Рейхенбаха, в местечке Петерсвальдау.

Император жил в огромном господском заброшенном доме. Вокруг был парк с буковыми великанами и древними дубами. В одичалом фруктовом саду чернели непроходимые чащи. Дорожки заросли бурьяном и папортником. Зеленый пруд покрыт был камышами. Филины и лягушки устраивали каждый вечер меланхолические концерты.

В громадном мрачном доме жил государь с гофмаршалом Толстым. Свиты не было. Только Балашов и Шишков жили неподалеку в крестьянской хижине, изнемогая в смертельной тоске и не понимая, зачем императору понадобилось это уединение в силезском захолустьи. Приходя к государю с докладом, Шишков иногда часами сидел в большой мрачной комнате с одной свечкой, дожидаясь, когда Александр позовет его к себе. Это наводило на него уныние и ужас.

Время от времени задумчивый и сосредоточенный император куда-то уезжал совсем один. Оказывается, он уезжал в местечко Гнаденфрей. Там была колония гернгутеров, или так называемых моравских братьев. Эти набожные, трудолюбивые и чистоплотные

люди рассказывали императору о своем учении. С кротким упрямством, которое представлялось Александру прекрасной верой, эти люди уверяли, что их вера возникла во времена Кирилла и Мефодия, что некий Петр Валдус боролся с мраком папского суеверия, что Иоанн Гус был также гернгутер, но что его последователи забыли пламя Констанцкого костра, и что истинные дети великого Гуса только они - гернгутеры, моравские братья.

Таинства и догматы официальной церкви - дурное заблуждение. Обряды не нужны. Святых они не видали и не желают видеть. Иконы - все равно, что идолы. Они только поклоняются богу в духовном уединении и признают евангельское учение о нравственности. Им не надо никаких посредников и никаких церковных преданий. Правда, они терпимо относятся к разным там католикам, православным или протестантам, потому что в каждом вероисповедании есть зерно истины, но сами гернгутеры узнали великую тайну о нравственном долге и святом духе непосредственно от бога. Слушая эти рассуждения и вспоминая невольно тех плохих архиереев, каких ему приходилось видеть в Петербурге, Александр очень радовался, что в Силезии есть люди, которые думают и верят совершенно так же, как он сам и как милый маленький князь Голицын. К тому же чистенькие домики, однообразно построенные в этом селении Гнаденфрей, отвечали вкусам Александра, любившего симметрию и порядок.

Подобных встреч в жизни Александра было немало. Эти беседы с моравскими братьями давали какое-то сладостное успокоение его утомленной душе. Ведь нелегко в самом деле так долго воевать, да еще с таким противником, как Наполеон, страшиться за судьбу своей страны, пережить сожжение столицы, сознавать, что в глубоком тылу полный развал, нищета населения, рабство, лихоимство и грубое суеверие. Отдохнуть бы! Отдохнуть бы! Вот за этой книгой, где говорится о добром пастыре, о полевых лилиях и птицах небесных, так хорошо успокоиться от душевных волнений. А ведь их немало. Еще не совсем исцелилась рана от неудачного брака, а теперь уже кровоточит и болит новая язва позорной измены той, в любовь которой он верил, оказывается, напрасно.

В январе 1813 года Александр писал из Плоцка известному мистика Кошелеву: *"...Как мне приятно узнать, что вы меня поняли. Моя вера чиста и ревностна. С каждым днем эта вера во мне растет и крепнет, давая такого рода наслаждение, которое было неведомо для меня. Но не думайте, что это только результат последних дней. То рвение, которое я испытываю, происходит от добросовестного исполнения заветной воли нашего Спасителя... Теперь несколько слов по поводу приезда в Петербург М. А. Нарышкиной. Надеюсь, что вы слишком хорошо осведомлены о моем душевном состоянии, чтобы беспокоиться на мой счет. Скажу вам больше, если я еще считал бы себя светским человеком, то, право, здесь нет заслуги остаться равнодушным к особе после всего, что она сотворила".*

Значит, Александр в 1813 году уже не считал себя светским человеком. Он чувствовал себя членом некоего таинственного духовного братства и смотрел на мир со стороны, как обладающий каким-то новым опытом, не для всех открытым. Он чувствовал себя посвященным.

Впрочем, Александру приходилось, конечно, несмотря на свой уединенный опыт, присутствовать при официальных богослужениях, и он даже иногда умилялся, слушая церковное пение, и сам подпевал приятным баритоном, стоя у правого клироса. 17 апреля 1813 года он рассказывает в письме к А. Н. Голицыну, как он был растроган, слушая на Пасху в Дрездене за обедней "Христос воскрес...".

Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много богородиц - владимирская, казанская, "утоли моя печали", "всех скорбящих радость" или мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем собственно нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны о ниспослании дождя; освящают колодцы, если в них попадает мышь; они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз... А между тем они худо знают писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий, подобно этим добродетельным гернгутерам.

С этой целью 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. Это было отделение Великобританского библейского общества. Не сразу, Впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и т. д.

На первом собрании в доме князя А. Н. Голицына, обер-прокурора Святейшего синода, заседали люди самые разнообразные и друг другу чуждые - пастор англиканской церкви Питт рядом с католическим митрополитом Сестренцевичем, голландский пастор Янсен рядом с обер-гофмейстером Р. А. Кошелевым, агенты Великобританского библейского общества Патерсон и Пинкертон рядом с православными епископами. Тут были и митрополит петербургский Амвросий, и архиепископ минский и литовский Серафим (впоследствии митрополит петербургский), и ректор Петербургской духовной академии архиепископ Филарет, впоследствии знаменитейший митрополит московский.

По поводу этого собрания Александр писал Голицыну: *"...Я придаю ему (Библейскому обществу) величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что святое писание заменит пророков (les prophetes). Эта всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение"*.

Немалое наслаждение доставляли набожному императору и встречи с квакерами. Ему, видевшему тысячи гниющих трупов на полях сражений, было приятно встретиться с этими людьми, отрицавшими войну. В 1814 году в Лондоне к русскому царю явились известные квакеры Вильям Аллен, участник коммунистического предприятия Овена, Стефан Грелье, мистик и филантроп, Джон Вилькенсон и Люк Говард. В их записке было сказано, что они явились к императору *"на случай, если бы среди лести, которую монархи принимали ежедневно, он захотел на минуту выслушать голос истины"*. Они были так же кротки и упрямы, как гернгутеры в местечке Петерсвальдау. Впрочем, Александр ничего не мог и не хотел противопоставить их тупенькой морали и сомнительному мистицизму. Они были довольны друг другом. Император со всем согласился.

"Служение богу, - говорил он, - должно быть духовное... Внешние формы не имеют значения..."

"Я сам молюсь каждый день без слов..."

"Прежде я употреблял слова, но потом оставил это, так как слова часто были неприменимы к моим чувствам".

Потом Грелье решился напомнить ему об ответственности, какую он несет, будучи самодержавным царем великой страны. Тогда Александр, конечно, пролил слезы и сказал квакеру:

"Эти ваши слова долго останутся напечатленными в моем сердце".

Через четыре года квакеры приехали в Петербург. Александр принял их в маленьком кабинете, посадил их рядом, называя "старыми друзьями". После беседы русский император предложил им предаться внутренней молитве и медитации. Они сидели молча некоторое время, ожидая духовной помощи свыше. Когда им показалось, что желанное достигнуто, они, растроганные, простились. При этом император взял руку квакера и благоговейно ее поцеловал.

В третий раз у Александра состоялось свидание с Алленом в Вене в 1822 году, накануне Веронского конгресса. Тут, несмотря на взаимное дружелюбие, обнаружилось некоторое разногласие. Александр полагал, что если сектанты нападают на господствующую религию, власть имеет право вмешаться в это дело. Аллен решительно отрицал это право вмешиваться в религиозные споры. Однако они расстались друзьями и на этот раз.

В 1824 году Александр встретился с квакером в последний раз. Это был сумасшедший Томас Шеллиге. И с этим фанатиком и чудачком Александр занимался мистическими упражнениями. Это свидание состоялось в Петербурге за полтора года до смерти императора. Александр, склонный с 1812 года к мечте о "внутренней церкви", искал ее ревнителей, и целая вереница их, особенно женщин, проходит в его биографии.

Среди этих экзальтированных душ едва ли не самое сильное впечатление произвела на Александра госпожа Крюднер. Эта необыкновенная во многих отношениях женщина, когда-то страстная и увлекавшаяся земными прелестями, не лишенная дарования писательница, а впоследствии филантропка и пророчица, была представлена Александру в Геймбронне, когда император ехал из Вены через Гейдельберг в действующую армию. Он слушал с волнением ее обличения.

"Вы, государь, - сказала она, - еще не приближались к богочеловеку, как преступник, просящий о помиловании. Вы еще не получили помилования от того, кто один на земле имеет власть разрешать грехи. Вы еще остаетесь в своих грехах. Вы еще не смирились пред Исусом, не сказали еще, как мытарь, из глубины сердца: боже, я великий грешник, помилуй меня. И вот почему вы не находите душевного мира. Послушайте слов женщины, которая также была великой грешницей, но нашла прощение всех своих грехов у подножия креста Христова".

Разговор этот происходил с глазу на глаз, и, конечно, точных слов, сказанных тогда госпожой Крюднер, никто не знает, но смысл диалога был именно таков. Александр, слушая госпожу Крюднер, вспоминал свое участие в заговоре против отца, свою измену жене, свою гордость, свое неверие... Он обхватил голову руками и зарыдал.

Госпожа Крюднер, увидев эти слезы, кажется, перепугалась, что она пересолила в своей фанатической суровости, но император ее успокоил, осушив слезы платком, и просил ее не удаляться от него. Она охотно последовала за императором в Гейдельберг, где была главная квартира, и поселилась в маленьком домике, поближе к дому государя. У них происходили постоянные свидания, и госпожа Крюднер делилась с Александром своими откровениями. Разговоры велись в том же духе, как и с моравскими братьями, или с квакерами, или с знаменитым Юнгом Штиллингом, с которым он успел познакомиться в Бадене. Госпожа Крюднер пламенно рассказывала своему собеседнику о своих видениях. Она знает судьбу мира. Исполняются пророчества Даниила. Царь Севера побеждает царя Юга, этого служителя антихристовой силы. Зло в конце концов будет побеждено. Вот уже низвергнут сеятель дьявольских соблазнов Бонапарт.

Когда закончена была кампания и Александр поселился в Париже во дворце Бурбонов, госпожа Крюднер опять появилась в обществе императора. Она жила в отеле Моншеню, в Елисейских полях, и Александр постоянно навещал ее, ища утешения.

Немудрено, что эта визионерка и проповедница произвела впечатление на Александра. Ей придавали немалое значение такие столь разные люди, как Бенжамен Констан, Шатобриан, Анри Грегуар и многие другие.

Впрочем, здесь, в Париже, госпожа Крюднер несколько скомпрометировала себя в глазах императора. Однажды Александр застал у нее некоего Фонтена и Марию Куммиринг. Шарлатан Фонтен объяснил государю, что его спутница - ясновидящая. Она в самом деле легла на канапе и стала пророчествовать в трансе. Император усомнился в ее духовности, когда она объявила ему, что божественный голос повелевает русскому императору выдать ей, Марии Куммиринг, какую-то сумму денег.

Госпоже Крюднер пришлось извиниться за неудачное пророчество, и Александр успокоил ее, но, по-видимому, этот случай несколько охладил его к подобным опытам.

Однако госпожа Крюднер приехала на знаменитый смотр в Вертю в императорском экипаже; все парижане говорили о ее влиянии на русского царя. Эмпейтар, постоянный спутник госпожи Крюднер и ревнитель "внутренней церкви", рассказывает в своих записках о возникновении в дни парижских торжеств идеи Священного Союза.

"За несколько дней до своего отъезда из Парижа, - говорит он, - император Александр сказал нам: "Я оставляю Францию, но до моего отъезда я хочу публичным актом воздать богу отцу, сыну и святому духу хвалу, которой мы обязаны ему за оказанное нам покровительство, и призвать народы стать в повиновение Евангелию. Я принес вам проект этого акта и прошу вас внимательно рассмотреть его, и если вы не одобрите в нем какого-нибудь выражения, то укажите мне его. Я желаю, чтобы император австрийский и король прусский соединились со мною в этом акте богопочтения, чтобы

люди видели, что мы, как восточные маги, признаем верховную власть бога спасителя. Вы будете вместе со мной просить у бога, чтобы мои союзники были расположены подписать его".

Но доверие императора к госпоже Крюднер значительно умалилось с течением времени. Говоря однажды о высоких целях провидения, Александр сказал, по сообщению княгини Мещерской, что он думал ранее, будто сам бог предназначил госпожу Крюднер для изъявлений своей воли, но ему очень скоро пришлось убедиться, что свет, исходящий от нее, был как *ignis fatuus* (блуждающий огонь).

Госпожа Крюднер уехала в конце октября из Парижа, и тогда же началась ее бурная проповедническая деятельность. Императору доносили, как она в Швейцарии переезжала из кантона в кантон, проповедуя "царствие божие", как она собирала вокруг себя толпы бедняков, которых она снабжала пищей и одеждой, уговаривая поверить в близкое наступление "тысячелетнего царства". Буржуазная Швейцарская республика усмотрела в ее проповеди социальную опасность и выслала ее из пределов страны.

Подобной же пропагандой она занималась в Баденском графстве, и здесь у нее вышли недоразумения с правительством. Ее проповеди затрагивали вопрос о собственности. Это было небезопасно в то время: год был неурожайный, на фабриках была безработица, и толпы голодных охотно слушали пропаганду госпожи Крюднер, которая обещала в недалеком будущем царство справедливости на земле. Пришлось выехать из Бадена.

В 1818 году Александру донесли, что госпожа Крюднер появилась в Лифляндии. К своим пророчествам она присоединила теперь сочиненные ею песнопения, в коих не все могло нравиться ее коронованным друзьям. *"Я верю твердо, - заявляет она в этих гимнах. = Кто может еще остановить меня? Дайте мне крест, грозящий тронам! Любовь покоряет земные власти. И мой Спаситель со мною в битвах"*. Обличительница "безбожной революции", она, сама того не замечая, оказывала сомнительную услугу европейским государям, подымая такие вопросы, какие невыгодно было подымать их правительствам.

В начале 1821 года, когда Александр был на конгрессе в Троппау, Крюднер появилась в Петербурге. Император окончательно охладил к ней, когда она стала пламенно защищать интересы восставшей Греции и требовать европейского вмешательства. Тогда император уведомил ее через Александра Тургенева, что она *"поселяет волнения вокруг трона и нарушает свои обязанности подданной и христианки"*. Крюднер пришлось удалиться из Петербурга. Александр слышал, что она предалась самым крайним аскетическим подвигам. Друзья увезли ее в Крым. Она умерла 25 декабря 1924 года (Так в тексте... Вероятно - 1824 года - V.V.).

Декларацию Александра о Священном Союзе подписал благочестивый прусский король Фридрих-Вильгельм III и равнодушный к благочестию австрийский император Франц. Первый подписал, не колеблясь, а второй, увлеченный какими-то новыми музыкальными произведениями, долго не мог понять, чего от него хотят. Потом он посоветовался с Меттернихом. Австрийский бесстыдник объяснил своему императору, что союз с русским царем необходим. Конечно, досадно и смешно, что приходится назвать "священным" этот союз, но делать нечего. Лучше что-нибудь, чем ничего. Так началась эпоха конгрессов.

Священный Союз, который стал впоследствии синонимом реакции, при своем зарождении в помыслах императора был, напротив, оплотом европейской свободы. На деле все вышло иначе. В 1815 году Александр был еще убежденным либералом. В Польше и в Финляндии, согласно его плачу, были созданы конституции, правда, жалкие, но по понятиям того времени достаточно демократические. Новосильцев по требованию государя сочинял и для всей России "Уставную грамоту", т. е. разрабатывал конституционный проект Сперанского. Но либерализм, как известно, нередко попадает между молотом и наковальней. Наковальней оказалась австрийская меттерниховская реакция, а молотом - революция. Либерализм Александра оказался не закаленным булатом, а простым стеклом, которое и раздробилось мгновенно при первом же ударе молота, даже не очень тяжелого.

Французская буржуазия в своей Большой Революции выдвинула известную формулу - **"свобода, равенство и братство, или смерть"**. Мы теперь знаем, что на деле применялась только последняя часть формулы, а первую часть полностью применить не удалось. Явился Бонапарт и, посмеявшись над *"свободой и братством"*, оставил в силе один только принцип *"равенства"*. Этого было достаточно для того, чтобы его апологеты объявили его сыном революции. Александр, напротив, имел вкус к *"свободе и братству"*, по крайней мере, в романтическом смысле этих принципов, зато к равенству у него не было никакой склонности. Эта "плебейская" идея казалась ему весьма сомнительной. Он никогда не мог простить Сперанскому того, что он навязал ему эту идею. Пока Александр был "якобинцем", ему удавалось кое-как, вопреки своим вкусам, признавать этот принцип, но как только он усмотрел в революции "зверя", явившегося под личиной Бонапарта, ему другого ничего не оставалось, как отказаться от этой жуткой идеи. *"Равенства нет и быть не может, - думал он. - В космосе мы видим иерархический порядок. Мадам Крюднер уверяет, что иерархический порядок присущ также и загробному миру. В этом многообразии биологическом и духовном вся тайна и красота мироздания. Ежели вместо сложной формулы качеств и степеней устроить монотонное равенство всех и всего, наступит царство мертвой скуки"*.

Меттерниху понравилась эта мысль, и он сделал из этих эстетических и метафизических идей практические выводы: надо сохранить привилегии во что бы то ни стало. Пусть останутся на своих местах императоры, короли, герцоги, бароны; пусть не мечтает о равенстве перед законом та чернь, которая нетерпелива и строптива; пусть университеты и науки служат властям, а не какой-то будто бы объективно существующей истине;

пусть наконец не воображают нищие, что австрийские и всякие иные магнаты поделятся с ними своими богатствами.

Осенью 1818 года собрался в Аахене первый конгресс Священного Союза. Речь шла главным образом о том, надо или не надо выводить оккупационные войска из Франции. Все чувствовали, что Людовик XVIII сидит на своем троне не очень прочно. Франция вообще подозрительна. В ней всегда - революционная зараза. Но, с другой стороны, нельзя же до бесконечности тратить миллионы на содержание армии в чужой стране. К тому же это не содействует авторитету Бурбонов.

Славные традиции веселого Венского конгресса продолжались и в Аахене. И разговоры о возможной революции чередовались с развлечениями - любовались на девицу Гарнерен, которая подымалась на воздушном шаре; смотрели знаменитых кулачных бойцов; толпились жадною толпою вокруг рулетки, где играли на огромные суммы...

Среди этих забав было решено вывести иностранные войска из Франции. Возник еще один вопрос - о прекращении торговли неграми. Александр, у которого в подвластном ему государстве продавались и покупались люди даже без земли, выступил, не боясь быть смешным, в качестве горячего защитника чернокожих и требовал самых радикальных мер для прекращения торговли.

В числе множества ходатайств, поданных императору Александру, было одно, не лишенное остроумия. Некий Фортюнид просил государя принять его на службу в качестве придворного шута, ибо только таким способом русскому царю представится случай услышать некоторые истины весьма горькие, но полезные.

К числу неприятностей Аахенского конгресса надо отнести появление небольшого, худо отпечатанного воззвания с эмблемами какого-то тайного общества. Листок призывал к низвержению как раз тех принципов, какие участниками конгресса почитались священными.

К концу Аахенского конгресса пришло известие, что открыт заговор. Какие-то французские патриоты решили во время предполагавшейся поездки Александра в Париж похитить его в дороге и принудить к признанию императором Франции сына Наполеона под опекою Марии-Луизы. Заговор был ликвидирован, и Александр поехал на последний торжественный смотр союзных войск во Франции. Во время маневров Александр сказал строго графу М. С. Воронцову: *"Следовало бы ускорить шаг"* (le pas n'est pas assez accelere". Воронцов на это ответил: *"Государь! Мы этим шагом пришли в Париж"* (Sire, c'est avec ce pas que nous sommes venus a Paris).

В это время многие участники заграничных походов были убеждены, что у них теперь есть или, вернее, должны быть некоторые права и что не так уж важно, чтобы шаг солдата на параде был равен непременно аршину - не более и не менее.

Все это не нравилось Александру. Приятно освободить народы, особенно в речах или на бумаге, но вовсе неприятно быть свидетелем, как эти народы сами начинают

освободиться. Это сопряжено с большими неудобствами. Эти народы ужасно нетерпеливы.

Епископ Эйлерт, муж святой нравственности, убедил Фридриха-Вильгельма, что данные им народу конституционные обещания можно не исполнить для блага этого самого народа. И что же! В ответ на промедление в реформе начались в Пруссии волнения, что было, конечно, актом невежливости по отношению к добродетельному королю, другу Александра. Косвенно это касалось и русского императора.

А тут еще история с брошюрой Стурдзы, чиновника нашего министерства иностранных дел. Он резко осуждал в этой немецкой брошюре либеральное движение в Пруссии. Агент русского правительства, знаменитый писатель Коцебу, выступил на защиту злополучной брошюры, что вызвало целую бурю негодования. Известно, чем поплатился Коцебу за свое рвение. Его убил слишком пылкий ревнитель свободы.

Александр привык, чтобы его, русского государя, считали свободомыслящим. Ему казалось, что быть вольнодумцем на троне очень красиво. И вот теперь никто не ценит этой изящной позы венценосца. Как-то неожиданно для него самого Александр оказался выразителем европейской реакции. Ему казалось это недоразумением, и он еще не утратил тогда надежды внушить к себе прежние чувства и прежнее доверие. Но это было очень трудно.

После того как Занд убил Коцебу, Меттерних устроил в Карлсбаде конференцию германских владетельных особ для борьбы с революцией, Меттерних требовал драконовской цензуры и прочих испытанных средств для борьбы с крамолой. Александр слабо протестовал против таких мер, но общественное мнение уже не различало, где кончается политика Александра и где начинается политика Меттерниха. Александру казалось, что Европу охватило какое-то безумие. Во Франции Лувель, сын купца, убил герцога Беррийского. В Испании, где партизаны-патриоты так успешно боролись с Наполеоном, вспыхнуло восстание. Народная война воспитала дух свободолобия. Население Испании, руководимое масонами, отказалось вообще терпеть старый порядок. В одной только России было "благополучно". Впрочем, и здесь были некоторые неприятности. Вскоре после закрытия первого сейма в Варшаве поляки обратились к верховной власти с рядом настойчивых требований. Их заявления касались ответственности министров, реформы суда и отмены цензуры. Александр чувствовал, что Занд и Лувель, испанские, мятежники и польские радикалы, - явления одного порядка, что здесь есть некое общее дело, что народные массы охвачены огнем таких страстей и таких инстинктов, с какими нельзя бороться ничем иным, кроме цензуры, тюрем и штыков.

После второго Варшавского сейма, оскорбленный явной враждой поляков к его правительству, Александр, мрачный и разочарованный, поехал на конгресс в Троппау. Здесь его ждали невеселые дела. Надо было обсуждать вопрос о революционном движении в Неаполе. В июле 1820 года карбонарии принудили Фердинанда IV присягнуть конституции. С этим не мог примириться Меттерних. Он пугал грядущим террором растерявшихся государей, и ему легко удалось склонить на свою сторону Францию и Фридриха-Вильгельма. Англия и Франция в качестве конституционных

государств дали уклончивый ответ на требования Австрии немедленно вмешаться в неаполитанские дела и восстановить абсолютизм Фердинанда. Александр также не сразу дал свое согласие на это вмешательство.

Но у Меттерниха нашлось героическое средство против недуга вольномыслия, каким все еще страдал время от времени чувствительный Александр. Русский император не желает вмешиваться в неаполитанские дела? Значит, безбожники-карбонарии - милые люди, и пропаганда их не повредит Священному Союзу? Или, быть может, Александр думает, что у карбонариев нет друзей во всех прочих странах Европы? Пусть знает русский император, что Священному Союзу противостоит иной союз. Он, Меттерних, не желая лицемерить, вовсе не утверждает, что ему точно известно, к какому из этих двух союзов благосклонен святой дух, но, независимо от этого богословского вопроса, в коем пусть разбирается сам Александр, совершенно очевидно, что реальная политика требует немедленного вмешательства в судьбу Фердинанда IV. Сегодня Неаполь, завтра Мадрид, а послезавтра Санкт-Петербург. Что? Русский император улыбается? Он думает, что он располагает великолепной гвардией, которая сотрет в порошок дерзнувших посягнуть на верховные прерогативы власти? Но ведь эта самая гвардия вовсе не надежна. Она уже не раз вмешивалась в политику, убивая и возводя на престол императоров. Прежде это было привычкой, теперь это станет принципом... Меттерних уверен, что и в Петербурге найдутся карбонарии. И вдруг Александру доносят о бунте Семеновского полка!

Император не верил своим ушам. Как! Его любимцы, герои Отечественной войны, герои Кульма, восстали против власти! Но ведь он знает лично каждого офицера в этом полку. Он даже знает многих солдат... К нему явился с донесением адъютант командующего корпусом лейб-гусарского полка штаб-ротмистр Чаадаев. Это был тот самый Петр Яковлевич Чаадаев, впоследствии автор "Философических писем".

Александру было неприятно почему-то встретиться теперь с глазу на глаз с этим офицером и ранее ему известным. Если бы сейчас перед ним стоял какой-нибудь простец, камердинер Онисимов или кучер Илья, или граф Аракчеев, ему было бы легче. Но видеть устремленные на тебя умные, пронизательные глаза, все понимающие, - нет, это невыносимо!

Васильчиков и граф Милорадович уверяют в донесении, что бунт случился из-за глупости и грубости полкового командира Шварца, что будто бы избалованные добрым отношением прежнего командира нижние чины не могли стерпеть, когда этот Шварц издевался над ними, муштруя их, ветеранов, как животных. Но император не верил тому, что этот бунт - простая случайность. Шварц был ставленник Аракчеева, и Александр поспешил написать своему фавориту:

"Скажу тебе, что никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. Он был всегда известен за хорошего и исправного офицера и командовал с честью полком. Отчего же вдруг сделаться ему варваром? По моему убеждению, тут кроются другие причины..."

"Внушение, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял. Офицеры же все усердно старались пресечь неповиновение, но безуспешно. По всему выписанному заключаю я, что было тут внушение чуждое, но не военное. Вопрос возникает: какое же? Сие трудно решить. Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам, которые, по доказательствам, которые мы имеем, в сообщениях между собой, и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау. Цель возмущения, кажется, была испугать..."

Меттерних, который сам внушал императору, что его северная столица также не застрахована от революции, как любой город Европы, в душе не очень верил, что казацкая Россия в самом деле заражена мятежным духом. *"Превосходило бы всякую меру вероятия, - писал он, - если бы в России радикалы уже могли располагать целыми полками"*.

Аракчеев был иного мнения.

"Я совершенно согласен с мыслями вашими, - писал он Александру, - что солдаты тут менее всего виноваты и что тут действовали с намерением, но кто и как, то нужно для общего блага найти самое начало..."

"Я могу ошибаться, но думаю так, что сия их работа есть пробная, и должно быть осторожным, дабы не случилось чего подобного".

Возможно, что опасения Александра были основаны на некоторых фактах. "Воззвание от Семеновского полка к Преображенскому", разбросанное как раз во время бунта на дворе казарм, у Таврического сада, едва ли было сочинено простым солдатом. Для императора не было также секретом участие семеновских офицеров в масонских и других тайных обществах.

Он вспоминал, краснея, как однажды на заседании масонской ложи "Трех добродетелей" А. Н. Муравьев, давая ему объяснение, как наместный мастер ложи, обращался к нему, императору, по правилам братства, на "ты". Какая дерзость! Вот оно равенство! Тогда же Александру стало не по себе, и он удалялся по возможности от масонских дел. А. Н. Муравьев с 1818 года был уже в отставке, но Александр знал, что друзья Муравьева служат в Семеновском полку. Сергей Иванович и Матвей Иванович Муравьевы-Апостолы были членами той же самой ложи "Трех добродетелей". Это они в 1817 году были основателями Союза Благоденствия. И тогда уже можно было предвидеть, к чему все это клонится. Источник революции надо было искать в Европе, на Западе. Теперь уже Александр не сомневался, что сатанинский дух (*le gente satanique*) присутствует во всемирном революционном движении. Тщетно его умоляли вернуться в Россию. Он не хотел.

"Если я в такую важную минуту, - писал он Васильчикову, - брошу все это дело, дабы скакать в Россию, замешательство самое пагубное может произойти во всех этих делах, а успех их окончательно поколеблется. К тому же все эти радикалы и карбонарии, рассеянные по Европе, именно хотят заставить меня бросить начатое"

здесь дело; мы имеем в наших руках об этом и не один документ; они взбешены, видя дело, которым мы здесь занимаемся. Нужно ли им дать это торжество?"

Конгресс из Троппау переехал в Лайбах. 12 марта 1821 года австрийцы вступили в Неаполь, и освободительное движение было задушено. Впрочем, тотчас же вспыхнула новая революция - в Пьемонте. И тут инсургенты потерпели неудачу. Австрийцы заняли Турин.

Александрю казалось, что какая-то враждебная и тайная сила хочет вырвать у него из рук дело свободы и справедливости. Тут что-то нечистое. Совершается какая-то подмена. Заговорщики готовы зажечь весь мир. После Неаполя и Пьемонта приходят самые мрачные вести из Испании. Конгрессы не перестают заседать, и государи вместо того, чтобы заниматься своими национальными делами, вынуждены готовить походы в соседние страны для усмирения мятежников. Австрийцы наводят свои австрийские порядки в Италии, французы - в Испании.

Но тут случилось нечто неожиданное. Еще заседал конгресс в Лайбахе, когда было получено известие о восстании Греции. И кто же был зачинателем этого нового мятежа? Генерал-майор русской службы, князь Александр Ипсиланти. Собрав в Бессарабии отряд из свободолюбивых греков и русских удальцов, 22 февраля 1821 года он перешел Прут, призывая греков к восстанию. На его призыв откликнулись прежде всего Морея и острова Архипелага.

Разве не ужасно положение Александра? Разве он не глава греческих единоверцев? Разве не считает он себя ревнителем христианской правды? Турки разрушают православные храмы, насилуют гречанок, истязают повстанцев... Что же делать? Помогать грекам?

Воспользоваться таким стечением обстоятельств, чтобы осуществить политическую программу, намеченную еще Петром Великим и бабушкой Екатериной, чьим заветам он обещал следовать в своем первом манифесте к народу?

Но князь Меттерних объяснил русскому царю, что греки, хотя и христиане, бунтуют совсем не по-христиански. Всякий бунт есть бунт. Бунт надо не поощрять, а усмирять. Александр и сам чувствовал, что здесь есть какая-то неумолимая логика. *"Русский император становится ревнителем моей школы"*, - говорил Меттерних, уверившись, что Александр не склонен поддерживать греков. Положение русского министра Каподистрии поколебалось к удовольствию австрийского хитреца. Зато Меттерних теперь совершил дружеские прогулки в окрестностях Лайбаха с маленьким Нессельроде, который прекрасно усваивал его школу.

Когда Александр вернулся в Россию, константинопольский курьер привез ему известие о том, что делала Турецкая порта. Повсюду совершались избиения греков и вообще христиан. Патриарх Григорий, которому было в это время семьдесят четыре года, был схвачен на Пасхе у алтаря и повешен в полном облачении на паперти храма. Его труп волочили потом по улицам и бросили в море. Наш константинопольский посол Строганов требовал немедленного вмешательства, но Александр ни на что не решался, боясь противоречий.

Доводы Каподистрии в пользу греков казались ему сомнительными. Ведь все-таки они мятежники, эти греки! Однако он порой заговаривал с французским послом о возможном разделе Турции. Потом приходилось раскаиваться в подобных разговорах. Все-таки Меттерних прав. Он пишет очень убедительно, что война с Турцией будет брешью, через которую вторгнется революция. *"Судьба цивилизации находится ныне в мыслях и в руках вашего императорского величества"*, - писал он Александру.

Оказывается, что интересы этой самой цивилизации настоятельно требуют, чтобы в Неаполе и Пьемонте сидели монархи, ничем не ограниченные; чтобы в Константинополе был повешен строптивый патриарх; чтобы во всей Европе бдительная цензура душила всякую мысль, негодную Меттерниху... От всех этих интересов цивилизации можно было сойти с ума.

Надо было выбирать между Меттернихом и его противником - Каподистрией. Австрийский князь называл его *"апокалипсическим Иоанном"* и мечтал об его окончательном падении. Так и случилось. В половине августа 1822 года Каподистрия выехал из Петербурга. Он отправился в Швейцарию и поселился в окрестностях Женевы. Расставшись с министром, который нарушал своими идеями стройный меттерниховский план борьбы с революцией, Александр, однако, вовсе не нашел успокоения.

Осенью 1822 года пришлось ехать на Веронский конгресс для улаживания испанских дел. По дороге, в Вене, у императора было свидание с аббатом князем Александром Гогенлоэ, который славился своими католическими добродетелями. Прощаясь с этим аббатом, Александр опустился перед ним на колени и поцеловал его руку. Впрочем, в эти же дни он целовался с квакером Алленом. Получив духовное подкрепление из столь разных источников, Александр отправился в Верону.

Когда дело греков было уже проиграно, Александр говорил Шатобриану:

"Я очень рад, что вы, побывав в Вероне, можете быть беспристрастным свидетелем наших действий. Неужели вы думали, как уверяют наши неприятели, что Священный Союз составлен в угоду властолюбию? Это могло бы случиться при прежнем порядке вещей, но в настоящее время станем ли мы заботиться о каких-либо частных выгодах, когда весь образованный мир подвергается опасности? Теперь уже не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской; теперь одна лишь политика общая, которая должна быть принята народами и государями для блага всех и каждого. Я должен первый пребыть верным тем началам, на коих я основал Союз. Представилось испытание - восстание Греции. Ничего не могло быть более выгодного для меня и моего народа, более согласного с общественным мнением России, как религиозная война против турок, но я видел в волнениях Пелопоннеса признаки революции и - удержался..."

"Нет, никогда не оставлю я монархов, с которыми нахожусь в союзе. Государи имеют право заключать явные союзы для защиты от тайных обществ".

Но, может быть, "тайные общества" - легенда досужих умов? А если они существуют, то, может быть, они не так уж безбожны? Может быть, их цели - действительное благо народов?

Нет, Меттерних уверяет с документами в руках, что заговорщики ведут антихристианскую пропаганду. Архиепископ римский их осуждает, хотя иногда двусмысленно.

Александр не верит в антихристианский дух революции?

Тогда Меттерних ему напоминает кое-что, касающееся его православной империи.

Знает ли он, что значит "Панта Коина"?

Это значит - "все вместе". Это - лозунг тайного варшавского общества - Союза Друзей, образовавшегося еще в 1817 году. По поручению петербургского правительства какой-то дивизионный генерал производил следствие по этому делу. Члены общества давали самые невинные показания. Все это было как будто даже очень добродетельно. Но известно ли Александру, что установлена связь между польским обществом и таковым же прусским? Председатель варшавского общества Мауэрсбергер писал председателю прусского общества Келлеру:

"Правительство есть власть, которою несколько лиц пользуются во вред всем прочим, составляющим общество. Чем более эта власть велика и неограничена, тем менее остается свободы состоящим под нею. Религия есть подпора правительства, потому что наравне с ним ограничивает и стесняет человеческую свободу и проповедует покорность и набожность, направляя к благочестивым думам, отклоняет от вольнолюбивых действий и препятствует помышлять о свободе".

По уверению самого Мауэребергера, он извлек эти мыли из "Общественного договора" Жан-Жака Руссо. Но не все ли равно, каков был источник этих мыслей? Важно, какие выводы сделал этот вдохновитель тайного общества, созданного в пределах и за пределами России. С этими заговорщиками поступили слишком великодушно. Меттерних осторожно намекнул, что, может быть, имя Жан-Жака Руссо, которым в молодости увлекался сам император Александр, повлияло на мягкость приговора следственной комиссии. Однако в 1822 году стало ясно, куда клонилась деятельность тайных обществ в Польше. После волнений в университете нашлись при обыске воззвания с лозунгами: *"Когда идет дело о благе отечества, убийства не есть преступление"* или *"Стремиться к мщению - добродетель"*.

А вот что сказано в ритуале тайного польского Патриотического Союза. На вопрос мастера: "Как обширна твоя ложа?" Надзиратель отвечает: "Границами ее служат высокие горы, два великих моря и две реки". Ежели перевести этот высокий стиль на обыкновенный язык, то это значит, что поляки желают не только полной независимости, но и присоединения к своему шляхетскому королевству юго-западных областей с исконным русским населением. Границы Польши определены государями Священного Союза, и во всяком их изменении заинтересованы Австрия и Пруссия. Об этом должен

помнить император Александр. Или император вообще не придает значения тайным обществам?

Нет, Александр придает им огромное значение, но не странно ли, что он сам не сознает вполне ясно и точно, где же собственно границы этих загадочных сообществ. Масоны считают его своим. Его руки нередко встречают при рукопожатии по-масонски сложенные пальцы. При обысках в Польше у заговорщиков находились его портреты в рамках с масонскими эмблемами. Правда, теперь официально в России масонские общества закрыты, но ведь это не значит, разумеется, что масоны перестали быть масонами. *"Идеи пушками непобедимы"*, - как говорила бабушка Екатерина.

Еще до отъезда в Верону А. Х. Бенкендорф доносил о существовании Союза Благоденствия. Перечислены были имена заговорщиков, иногда с их любопытными характеристиками. Александр читал этот список. Здесь было столько ему известных гвардейских офицеров! Иных он знал как масонов. Были и штатские: Муравьев, Трубецкой, Пестель, Николай Тургенев, Ф. Глинка, Михаил Орлов, Фонвизин, Кюхельбекер и многие другие. Список был слишком длинный, и так не хотелось вникать в это дело, которое напоминало увлечение его собственной молодости, такой слепой и духовно скудной. Были и другие предупреждения.

Генерал-адъютант Васильчиков, когда Александр вернулся в Царское Село из Лайбаха, сообщал ему о заговоре. Он также представил царю докладную записку и перечень участников тайных обществ. Тогда император задумался. После долгих и томительных минут молчания Васильчиков с изумлением услышал от императора, что он не желает вмешиваться в дела тайных обществ.

- Дорогой Васильчиков! - сказал он. - Вы были у меня на службе с самого начала моего царствования. Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения... Не мне подобает их карать...

В конце ноября в Вероне началась зима. Мороз доходил до десяти градусов. Однако император по-прежнему выезжал один верхом на прогулки. Ему нравилась и Пиацца делле Эрбе, где некогда был древний форум, а тогда рынок, и храм Санта Мария Антика, и в готическом духе Сан-Фермо-Маджоре... А главное, ему нравилось итальянское небо. И мысль о том, что, быть может, он в последний раз дышит этим прекрасным воздухом Ломбардии, печалила его. Ему хотелось посетить Рим, но он, уезжая, дал слово императрице-матери не видеться с папой. Она опасалась, что с его религиозной жадой он увлечется римской идеей.

Впоследствии, незадолго до смерти, Александр отправил в Рим к папе Льву XII генерала Миню с какой-то загадочной миссией религиозно-дипломатического характера. Это послужило поводом для измышлений иезуитов, которым очень хотелось, чтобы русский император умер, признав папизм. Однако в конце царствования Лафероне доносил французскому правительству, что в России *"католицизм пользуется меньшей протекцией, чем другие культуры"*. Итак, в Рим из Вероны ехать не пришлось.

В Милан тоже нельзя было ехать, ибо там открыли заговор против австрийской власти. Да и пора было возвращаться в Россию. Италия сурово провожала русского царя. Мороз усилился до шестнадцати градусов. Около Падуи царя настигла настоящая вьюга, и некоторые спутники его отморозили себе пальцы.

Меттерних заметил, что там, в Вероне, русский император с каждым днем становился грустнее. Причин для этой меланхолии было немало. Между прочим, императора огорчило письмо Лагарпа, который писал откровенно своему бывшему воспитаннику, что решения Веронского конгресса представляются ему напрасной попыткой задержать ход событий, все равно неизбежных. Что касается греков, то он считал их дело правым и предостерегал императора от невыгодных для России последствий веронской политики. В конце концов освобождение греков возьмет на себя Англия, и тогда ключ к Дарданеллам будет в руках исконной соперницы России. С тех пор Лагарп не получал от Александра писем.

В России императора встретили немые белые поля и лютый мороз. 20 января 1823 года он прибыл в Царское Село.

XXIII

Веронский конгресс был последним политическим событием, в коем император Александр принимал деятельное участие. В сущности жизнь его как государя окончилась. Он еще продолжал царствовать, присутствовал на смотрах и маневрах, удалял министров и назначал новых, произносил речи на Варшавском сейме, подписывал рескрипты, но это уже был не прежний Александр, который мечтал о возрождении отечества, об освобождении Европы от Наполеона и вообще о благе народов... Окружающие уже не видели его благосклонной улыбки и не слышали его ласковых слов. Теперь он не заботился о том, какое впечатление производит он на людей. Он стал мрачным, недоверчивым и сосредоточенным, как будто пленным какой-то одной думой, тяжелой и неотвязной. Жизнь кончилась. Надо было подводить итоги.

Принимая корону, он думал, что трудами государственными он усыпит совесть. Павел убит, но зато воскреснет Россия. Александр освободит ее. Тогда он отречется от власти и удалится куда-нибудь как честный человек. И что же! Ему не удалось ни освободить России, ни самому освободиться от тяжелого бремени самодержавной власти. Деля смотры войскам, расположенным в Пензе, он почувствовал усталость, какой раньше не замечал за собой. Пензенский губернатор осмелился заметить, что "империя должна сетовать на его императорское величество..."

- "За что?"

- "Не изволите беречь себя".

- "Хочешь сказать, что я устал?" - спросил царь, смутясь.

Да, император устал. Вот он смотрит сейчас на эти прекрасные и славные войска. Но не довольно ли для России побед и славы? Больше, пожалуй, не надо. "Когда подумаю, - сказал он, - как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиля. От этого устаю".

Внутри государства в самом деле все было безрадостно. Александр знал, что даже при Павле не было такого лихоимства и казнокрадства, как теперь; он знал, что крепостные мрачно и нетерпеливо ждут обещанной в 1812 году свободы; он знал, что дело просвещения, руководимое А. Н. Голицыным, запутано безнадежно, что такие люди, как Магницкие и Руничи, как будто нарочно уродуют идею, которая представлялась ему высокой и светлой... Честный Паррот, этот смешной дерптский энтузиаст, прав, когда он пишет императору откровенно о безобразиях официальной науки...

Александр все это видит и понимает, но нет уже воли, чтобы предпринять что-нибудь. Да и возможно ли сделать что-нибудь теперь? Не поздно ли? Нетерпеливые заговорщики уже готовят свой план преобразования России. Им кажется, что дело свободы - очень простое дело. И Александру тоже казалось лет двадцать тому назад, что стоит лишь объявить о свободах, равенствах и всяких братствах, и на земле настанет райское житье. Но теперь он сомневается в этом. А разве можно что-нибудь делать удачно и хорошо, ежели сомневаешься?

Слава, которая окружает его имя как умиротворителя Европы, теперь не утешает Александра. Разве не пришел он к ужасному противоречию с самим собою, отвергнув притязания греков? Разве цельность Священного Союза не потерпела какого-то нравственного ущерба в этом деле, несмотря на всю эту сложную диалектику Меттерниха? В мировой политике есть что-то неблагополучное.

А личная жизнь Александра? В декабре 1818 года умерла подруга молодости, сестра Екатерина Павловна, которая умела быть такою нежной, а в решительные минуты такою непримиримой и настойчивой. А теперь умерла и милая восемнадцатилетняя Софи, единственная дочь императора. Пусть ее мать, эта обольстительная полька, обманувшая сначала Нарышкина, а потом и самого Александра Павловича Романова, безнадежно порочна и преступна, но ведь ее дочь невинна. Было так отрадно смотреть в ее чистые глаза. Эти две, ушедшие из нашего мира, как будто зовут его за собой.

А религиозные сомнения, которые терзают императора? В 1812 году, незадолго до вторжения Наполеона в Россию, впервые прочитав Библию, он думал, что обрел истину. Но прошло десять лет, и то, что казалось простым и ясным, опять стало сложным и трудным. Недавно, переодеваясь, Александр долго смотрел на свои огрубевшие колени с большими мозолями - знаки, оставшиеся навсегда от долгих молитвенных стояний перед аналоем. Он сам старался уверить себя, что молитва дает ему неизъяснимое блаженство. Но даже это утешение отнял у него один странный человек, который посеял в душе императора сомнение в чистоте его молитвы. Александр думал, что всякая вера сама по себе уже доброе приближение к истине. Зачем какие-то догматы, вероисповедания, обряды? Пусть каждый молится, как ему нравится. Важно соединиться в духе с первопричиной бытия. Это и есть та "внутренняя церковь", о которой говорит убедительно маленький князь Голицын.

Татаринова молится по-своему. Ее душа бывает в экстазе, когда она со своими единоверцами, надев белые балахоны, кружится до изнеможения. Разве в этом есть что-нибудь худое? А госпожа Крюднер? А князь Гогенлоэ? А скромный и благочестивый Фридрих-Вильгельм прусский? А трогательные квакеры? Они все молятся по-разному, каждый на свой лад. Но скоро наступит время, когда не будет более никаких разделений, ибо бог один и он вовсе не требует никаких посредников между собой и человеком...

Но вот летом 1822 года пришел этот странный человек, говорил с Александром, и теперь у несчастного императора нет уже прежней уверенности, что надо молиться так, как советует маленький князь. Кто же этот человек? Это - монах Фотий. О нем говорил Александру тот самый Голицын, который теперь не внушает императору прежнего доверия. Он ему рассказывал про этого монаха удивительные вещи. Этот Фотий - великий подвижник. На нем вериги и власяница. У него бывают видения. Он слышит голоса. Он предсказывает грядущее. Кроме того, он духовно просвещен. Образованный Филарет Дроздов уважает этого монаха.

Фотию была дана аудиенция. Он явился к царю как равный ему, или даже как старший, хотя и по возрасту он был значительно моложе Александра, да и по своему скромному положению не мог, казалось бы, рассчитывать на особое внимание "благочестивого монарха". Когда Фотий вошел в царский кабинет, Александр встал и хотел подойти под благословение, но монах, как будто не замечая императора, поворачивался во все стороны, ища образа. Отыскав, помолился и только тогда удостоил Александра своего благословения.

Этот маленький, худощавый бледный монашек, запостившийся, должно быть, с клубуком, надвинутым на брови, из-под коих зорко глядели голубовато-серые глаза, поразил почему-то воображение Александра.

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская крепко верит, что сам бог предназначил этого монаха обличать мирскую неправду. У него дар видеть козни, предуготованные диаволом. А ведь это так важно. Александр нередко сам не знает, где истина и где ложь. Разве в молодости не принимал он за добро то, что на самом деле суще зло. Все эти госпожи Крюднер, Татариновы и прочие экзальтированные особы - разве они в конце концов не так же слепы, как и он, Александр? У них, правда, на все есть объяснение. Они очень точно и складно сообщают о тайнах мироздания, но эта прозаическая точность как-то подозрительна, и не хочется верить, что господь бог открыл той или другой даме свои божественные замыслы. Кроме того ангел в Апокалипсисе требует от человека или пламени, все испепеляющего, или небесного ледяного холода. А все эти мистики не холодны и не горячи, и речь их похожа на приторный теплый сироп.

И какой странный полуславянский язык у этого монаха. Александр сказал:

- Я давно желал тебя, отец Фотий, видеть и принять благословение.

Монах помолчал, как будто прислушиваясь. Клубук еще ниже надвинулся на глаза, и Фотий вдруг стал похож на мохнатого медвежонка, который смотрит исподлобья. Глазки засверкали.

- Яко же ты хочешь принять благословение от меня, служителя святого алтаря, то, благословляя тебя, глаголю: мир тебе, царю, спасися, радуйся, господь с тобою буди.

Они теперь сидели друг против друга совсем близко, так что колени их касались.

Слова этого Фотия были какие-то необыкновенные, все как будто шершавые, пернатые. Они не пропадали бесследно, а запоминались невольно. Было в них что-то грубое и корявое, совсем непохожее на сладкую и круглую французскую речь хотя бы той же мадам Крюднер. Слышал ли про нее Фотий?

Да, он слышал про нее. Ему даже открыто, кто они такая.

- Женка сия, в разгоряченности ума и сердца, от беса вдыхаемой, не говорит никому противного от похоти и плоти обычаям мира и делам вражиим. Посему она и нравиться умеет всем во всем, начиная с первых столбовых боляр. Мужи, жены, девицы спешат, как оракула некоего дивного, послушать женку Крюднер.

Он даже видел портрет этой Крюднерши.

- Почитатели сделали ее изображение, с руками к сердцу прижатыми, очи на небо имеющую, а над нею писан святой дух с небес, как на Христа, сходящий во Иордане или на деву богородицу при благовещении архангельском. Сделано сие из обольщения своего или из ругательств над святынею христианских догматов...

Но почему же этот Фотий так строг к этой особе? Она искренно верует...

- И бесы веруют и трепещут...

- Значит, недостаточно одной веры?

- А ты как думаешь? Арий тоже веровал, да не право. Церковь единая верует истинно.

Фотий плотнее приник к Александру и шептал ему на ухо. Император чувствовал его дыхание и запах ладана. Голова слегка кружилась и замирало сердце. Как будто странная сила исходила от этого монаха.

- Церковь? Но что такое церковь?

Может, быть, той "внутренней церкви", о которой говорил Кошелев и Голицын, причастен этот Фотий? Уж если кто действительно владеет тайной, то, конечно, этот пламенный инок! А хорошо бы отдать ему свою волю, отказаться от себя...

- Я сижу в глубине безмолвия и уединения и молю господя, да изведет в свое время на дело свое человека божия подкопать, взорвать дно глубин сатанинских, содеянных в тайных вертепах - тайных обществ, вольтерьянцев, франкмасонов, мартинистов, и сокрушит главу седмиглавого змия треклятого иллуминатства...

Это первое свидание императора с отцом Фотием состоялось 5 июня 1822 года. Через несколько дней петербургский митрополит Серафим в Петропавловском соборе во время службы возложил на Фотия алмазный крест. А 1 августа того же года последовал рескрипт на имя министра внутренних дел Кочубея:

"Все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как-то: масонских лож или других, закрыть и учреждения их впредь не дозволять, а всех членов сих обществ обязать подписками, что они впредь ни под каким видом ни масонских, ни других тайных обществ ни внутри империи, ни вне ее составлять не будут".

Копия с этого рескрипта была послана отцу Фотию, который в это время выехал в Новгородскую губернию, в Юрьевский монастырь, куда был назначен настоятелем. Потом Александр предался обычным делам; потом был на конгрессе в Европе; опять встречался с разными религиозными мечтателями, но иногда образ изможденного и жуткого, с блестящими глазами, отца Фотия возникал перед императором, пугая воображение.

Весной 1824 года Александр получил от юрьевского архимандрита Фотия письмо.

"В наше время, - писал он, - во многих книгах сказуется и многими обществами и частными людьми возвещается о какой-то новой религии, якобы предоставленной для последних времен. Сия новая религия, проповедуемая в разных видах: то под видом нового света, то нового учения, то пришествия Христа в духе, то соединения церквей, то под видом какого-то обновления и якобы христового тысячелетнего царствования, то внушаемого под видом какой-то новой истины, есть отступление от веры божией, апостольской, отеческой, православной. Эта новая религия есть вера в грядущего антихриста, двигающая революцией, жаждущая кровопролития, исполненная духа сатанина. Ложные пророки ее и апостолы - Юнг Штиллинг, Эккартсгаузен, Гион, Бем, Лабзин, Госнер, Феслер, методисты, гернгутеры..."

"Да воскреснет бог и десницею своею и духом, на тебе сушим, да расточатся врази богоотцев наших и да исчезнут со всеми ложными учениями от лица земли нашея".

В это время подготовлялся заговор против князя А. И. Голицына. Во главе интриги стояли петербургский митрополит Серафим, перебежчик Магницкий, графиня Орлова, Шишков и, главное, сам Фотий.

20 апреля 1824 года состоялось второе свидание императора с Фотием. Его провели во дворец тайно, с секретного входа, *"дабы сие не было всем гласно"* - совсем как в 1801 году, когда сходились к императору его молодые друзья якобинцы, составлявшие знаменитый комитет спасения.

На этот раз беседа продолжалась три часа. Фотий пламенно говорил о том, что Россия должна быть православной. Если царь не православен, значит, и России нет спасения. Революция подняла голову даром. Соблазн сеет само правительство. Библейское общество распространяет еретические книги; Голицын поощряет сектантов и отступников; под видом благочестия питают души ложными учениями...

Александр был потрясен. Он назвал Фотия ангелом. Он упал на колени, молясь. Он молил монаха представить ему записку для искоренения духовной крамолы, в коей был сам повинен.

7 мая 1824 года Фотий представил царю "План революции, обнаруживаемой тайно, или тайна беззакония, делаемая тайным обществом в России и везде". Потом вскоре представлена была еще записка "О действиях тайных обществ в России через Библейское общество",

Через неделю Александр призвал к себе своего старого друга А. Н. Голицына и сказал ему ласково и мягко, что он убедился теперь в бесполезности его службы в качестве министра народного просвещения и управляющего министерством духовных дел. Пусть остается князь министром почт. Александру будет приятно видеть его время от времени, а на прежних его должностях будет Шишков.

Так окончилась государственная карьера маленького князя, мечтавшего совместить несовместимое.

Осенью, взволнованный новыми духовными потрясениями, Александр назначил очередную никому не нужную и всех удивлявшую поездку по России. Как всегда, он скакал стремительно из города в город, как будто желая ускользнуть от мрачных мыслей, которые преследовали его, как фурии.

В начале ноября он вернулся в Петербург. Седьмого числа с утра Нева хлынула на граниты набережных. Выл дикий ветер. Тучи низко неслись над землей. Казалось, что весь город плывет куда-то в туманную бездну. Было страшно. Земная и водная стихии смешались в мрачной колдовской пляске. В суеверном ужасе Александр наблюдал за мятежными волнами, которые неслись так же неудержимо, как неудержимо и фатально надвигалась на Европу революция. Как только вода стала спадать, император отправился в Галерную гавань. Страшная картина гибели и разрушения предстала перед ним. Он видел в ней вещий смысл. Он вышел из экипажа, стоял в толпе молча и тихо плакал. Кто-то сказал: "За грехи наши бог нас карает".

"Нет, за мои!" - пробормотал царь.

XXIV

17 июня 1825 года, в пять часов пополудни, в кабинет Александра в Каменноостровском дворце ввели унтер-офицера 3-го Украинского уланского полка. Государь приказал запереть дверь, и они остались с глазу на глаз. Это был не совсем обыкновенный унтер-офицер. Его фамилия была Шервуд. Родители его были англичане, и сам он родился в Кенте, близ Лондона. Будучи образован и владея французским, немецким, английским и русским языками, Шервуд без труда проник в общество офицеров, внушил к себе доверие, посещал знаменитую Каменку Давыдовых, встречался со многими участниками

Южного общества, сам был приглашен к участию в заговоре и, дав уклончивый ответ, поспешил в Петербург с доносом.

Прежде Александру сообщали о тайных обществах, о политической пропаганде, о конституционных планах, но никто еще с такой определенностью не говорил ему о заговоре против него лично и против всего царствующего дома.

Выслушав страшные и грозные для всей династии вести, Александр задумался, вспоминая, вероятно, судьбу Павла. И опять, как тогда, - дворяне, титулованные гвардейцы...

- Да, Шервуд, твои предположения могут быть справедливы... Чего же эти... хотят? Разве им так худо?

- От жиру собаки бесятся.

- И велик этот заговор?

- Ваше величество, по духу и разговорам офицеров вообще и особенно во Второй армии полагаю, что заговор должен быть распространен довольно сильно.

- А нет ли среди заговорщиков кого-либо из лиц поважнее? - вдруг спросил император и нахмурился, почувствовав, что сказал лишнее.

Он вспомнил, должно быть, графа Палена. Но Шервуд несколько не смутился. Этот холодный и трезвый англичанин, оказывается, и сам не лишен был каких-то политических убеждений. У него тоже была своя оценка тогдашнего положения вещей. Оказывается, этому Шервуду очень не нравятся *"некоторые учреждения и постановления в государстве"*.

Александр смотрел на этого доносчика с брезгливым удивлением. И этот рассуждает!

- Не нравятся?

- Не может быть, чтобы государственные люди делали без намерения столь грубые ошибки.

- Что же именно? Какие ошибки?

- В военных поселениях людям дают в руки ружья, а есть не дают. Что им, ваше величество, остается делать?

- Я тебя не понимаю. Как есть не дают?

- А очень просто, ваше величество. Коренные жители обязаны кормить и семейство, и постояльцев, и резервистов, и кантонистов... А чем кормить? Они заняты перевозкой леса, постройками и прочей службой, а на полевые работы нет времени... Иногда люди

умирали с голоду... Я был сам свидетелем... При нынешних обстоятельствах такое положение военных поселян может быть очень опасным...

Александр, сутулясь, слушал неприятные и почему-то для него лично обидные рассуждения самоуверенного унтер-офицера. Прогнать бы этого доносчика. Но прогнать нельзя, а надо быть ласковым и терпеливо слушать какие-то мнения какого-то сомнительного иностранца, в сущности поучающего управлять государством его, императора, победителя "двунадесяти языков", воспетого пиитами, увенчанного лаврами, умевшего говорить с первыми умниками Европы!

И вот вместо того, чтобы крикнуть "пошел вон, негодяй!" Александр милостиво протянул ему руку. Шервуд поцеловал ее.

- Ну, теперь, Шервуд, - сказал государь по-английски, - поезжай, напиши мне, как думаешь приступить к делу... Я буду ждать известий.

От государя Шервуд поехал в Грузине, к Аракчееву. Там за ним ухаживали. Граф угощал его обедами и завтраками. За столом сидели вчетвером: хозяин, доносчик, любовница Аракчеева Настасья Минкина, которую этот самый Шервуд впоследствии характеризовал как *"пьяную, толстую, рябую, необразованную, дурного поведения и злую женщину"*, и наконец состоявший тогда на службе у графа Батеньков, через полгода примерно привлеченный по делу восстания на Сенатской площади и двадцать лет сидевший в крепости, в одиночной камере. Об этих завтраках доносил Аракчеев царю. Александр интересовался личностью унтер-офицера Шервуда. Этим человеком заинтересовался также и Батеньков и раз шесть спрашивал необычайного гостя о причинах его появления в аракчеевском Грузине.

Наступила осень. Выезжая из Каменноостровского дворца в открытом экипаже, Александр с грустью любовался на строгий, великолепный амбир Петербурга. Город весь теперь усыпан был желтыми и червонными листьями. В этом году осеннее увядание наступило рано. Теперь Александр думал всегда об одном и том же - жизнь кончилась! *"Нельзя слишком долго показывать народу фантом"*. Тайна разоблачится. И все вдруг увидят, что нет никакого *"благочестивейшего самодержавнейшего"* монарха, а есть лишь несчастный, слабый, самолюбивый, замученный совестью, запутавшийся в ужасных противоречиях человек.

Доктора доложили государю еще об одном несчастий. Императрица Елизавета Алексеевна тяжело больна. Ее положение стало таким опасным, что надо ехать немедленно на юг Франции или в Италию. Александр пошел в апартаменты государыни, и вид ее, слабый голос, лихорадочный румянец - все показалось ему жутким и зловещим. Как он раньше не замечал этого? Она сгорает на его глазах, а он всегда занят собой, всегда чем-то озабочен и не видит, что погибает эта тихая женщина, все еще прекрасная в своем осеннем увядании. А ведь он виноват перед нею!

Пусть она ему изменила... Но не сам ли он своим поведением толкал ее на эту измену? Да, это его преступление. Это он погубил ее жизнь! А ведь она была так добра к нему раньше и потом. Он сам оттолкнул ее. Если бы он был настоящим рыцарем, он не

допустил бы ее пасть. А что если вернуться к ней, к этой очаровательной, умной, нежной женщине? Ведь они уже стали дружески беседовать иногда последние годы. Нельзя ли вернуть утраченное счастье? Не сказать ли ей прямо, что он любит ее, что все, что было, забвенно? Памятны только те минуты, когда она ему протянула записку, где было написано ею "люблю навек".

Елизавета Алексеевна отказалась ехать в Европу. Они о чем-то долго совещались с императором. И потом было объявлено, что они поедут вместе в Таганрог. Почему в Таганрог? *"Признаюсь, не понимаю, - писал князь Волконский, - как доктора могли избрать такое место, как бы в России других мест лучше сего нет"*. Но было твердо решено, что поедут именно в Таганрог.

Смотр около Белой Церкви, предположенный осенью, пришлось отменить, потому что получены были сведения о мятежном настроении армии, и боялись покушения на особу государя.

Начались сборы в дорогу. Спешили уехать на русский юг. Кажется, у Александра и Елизаветы была какая-то надежда, что там, в Таганроге, они устроят жизнь, как в идиллической хижине "на берегу Рейна", о чем они мечтали когда-то в юные, романтические годы.

Маленький князь Голицын, лишенный официально всяких полномочий по требованию Фотия, пользовался, однако, личным расположением Александра. И вот, разбирая бумаги в кабинете царя, князь решился высказать Александру то, что всех беспокоило. Почему-то многим казалась эта поездка в захолустный городишко какой-то непонятной и опасной прихотью императора. Было что-то в этой поездке загадочное, и сложилось у многих убеждение, что в сущности Россия остается как будто обезглавленной и надо что-то предпринять.

А тут еще запутанный вопрос о престолонаследии. Еще в январе 1822 года великий князь Константин Павлович отказался от престола и дал в этом смысле письменное заверение. Наследником пришлось признать брата Николая Павловича. Летом 1823 года, с ведома Голицына и Аракчеева, московскому архиепископу Филарету был тайно вручен акт о наследовании престола Николаем, подписанный императором. На запечатанном конверте была собственноручная надпись царя: *"Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть... прежде всякого другого действия"*.

Николай Павлович официально об этом акте не был извещен, однако еще летом 1819 года император говорил ему и его супруге о том, что, может быть, ему, Николаю, придется после его смерти или после отречения занять престол. В своих записках жена Николая Павловича передает этот разговор, будто бы смутивший и огорчивший их. А Елизавета Алексеевна в одном из писем к своей матери писала откровенно, что Николай Павлович спит и видит тот счастливый для себя день, когда он будет неограниченным повелителем России.

Маленький князь Голицын, посвященный в тайну престолонаследия, удивлялся, что государь держит эти свои намерения в секрете. Не следует ли их обнародовать, ежели государь так твердо решил ехать куда-то в южные степи на неизвестный срок.

Александр, выслушав Голицына, помолчал, потом, подняв руку к небу, сказал тихо: *"Положимся в этом на бога: он устроит все лучше нас, слабых смертных"* (Remettons nous en a dieu: il saura mieux ordonner les choses que autres faibles mortels...).

Александр решил ехать вперед, раньше Елизаветы, чтобы все подготовить к ее приезду. Как странен и загадочен был этот отъезд!

1 сентября ночью один, без свиты, он выехал из Каменноостровского дворца. Он приказал ехать в Александро-Невскую лавру. Там его ждали монахи. Как заговорщик, он спешно вошел в монастырские ворота и приказал запереть их за собой. В соборе, в полумраке, он молился у раки Александра Невского. Потом он пошел к какому-то схимнику, о котором ему говорил митрополит Серафим. Здесь он опять стоял на коленях перед распятием, повторяя за монахом слова молитвы. А после спросил почему-то старца, где он спит. Тот отворил маленькую дверь и показал черный гроб.

- Вот моя постель, государь. И ты ляжешь в нее когда-нибудь и будешь спать долго.

Царь благословился у монаха и пошел вон из лавры, сутулясь и крестясь.

13 сентября 1825 года царь приехал в Таганрог. Через десять дней приехала туда императрица. Они поселились в небольшом одноэтажном доме, который вовсе не был похож на дворец. И обстановка в этом доме была скромная. Александр и его жене, по-видимому, хотелось забыть по возможности о придворной пышности, такой трудной и скучной.

Александр, готовясь к приезду Елизаветы Алексеевны, чистил дорожки в саду, развешивал в комнатах какие-то лампы, вбивал гвозди и перетаскивал диваны.

Он ухаживал за Елизаветой Алексеевной с нежностью молодого супруга. Ее здоровье, видимо, улучшилось, и чета, казалось, живет иллюзией, что там, в Петербурге, кто-то управляет государством, что сложная и мучительная жизнь двора, с ее международными интригами, страхами внутренних волнений, с ее лицемерием и ложью - все это оставлено навсегда, все это чуждо им, Александру и Елизавете.

Но страшная жизнь напоминала о себе неумолимо. Было получено известие, что дворцовые Аракчеева зарезали его любовницу Настасью Минкину, ту самую "хозяйюшку" Грузина, с которой не раз сиживал за одним столом Александр, будучи гостем у фаворита. Тщетно вызывал к себе в Таганрог своего любимца Александр. Теперь Аракчеву было не до "обожаемого" государя. Он готовил пытки и казни своим рабам за их кровавую месть. Он все забыл, даже дело Шервуда, который, исполнив поручение, приготовил список заговорщиков и ждал распоряжений об их аресте. Аракчеев об этом не позаботился. А сам император брезгливо слушал донесения о

готовящихся событиях и не очень спешил принимать какие-нибудь меры. Так, например, после поездки Александра по земле Войска Донского 18 октября явился в Таганрог граф Витт и сделал новые сообщения, подтверждающие донос Шервуда. Надо было действовать решительно и немедленно задушить движение, но Александру не хотелось думать об этом ответственном и темном деле, и он ограничился тем, что лениво приказал *"продолжать расследование"*, хотя и без того все было ясно.

В тихом и мирном Таганроге жить было приятно, и не хотелось думать о международной политике, о необходимых внутренних делах и, главное, о революции. Жизнь императора кончилась, но так хотелось пожить еще простым, частным человеком, не внушая никому ни страха, ни зависти. Но и здесь трудно было забыть о том, что какие-то неведомые и неуловимые враги готовят ему козни. Однажды в кушанье Александр нашел какой-то камешек. Что это? Не покушение ли на его жизнь? Как мог попасть камешек в пищу, приготовленную для него? И он, махнувший рукой на громадный и страшный заговор, очень строго допрашивал начальника своего штаба Дибича об этом злополучном камешке.

Но и здесь, в таганрогском уюте, проснулась у императора его страсть к скитаниям. Новороссийский генерал-губернатор Воронцов уговорил его посмотреть Крым. Накануне отъезда, когда император сидел за письменным столом, над городом собрались тучи. Стало совсем темно. Потом посветлело, но император все еще сидел при свечах, думая о чем-то. Вошел камердинер и хотел убрать свечи.

- Зачем? - спросил император.

- Худая примета, - сказал камердинер. - Днем при свечах покойники лежат.

- Унеси свечи, унеси, - пробормотал суеверный царь, невесело улыбаясь.

Итак, Александр отправился на прогулку по Крыму. Он посетил Симферополь, Гурзуф, Байдары, Алупку...

- Хорошо бы купить здесь клочок земли и зажить помещиком, - мечтал вслух Александр.

- Я отслужил двадцать пять лет, и солдату в этот срок дают отставку...

Он все старался остаться один, освободиться от свитских, сопровождавших его. Из Балаклавы, например, он поехал в Георгиевский монастырь верхом с татаринном. Это было 27 октября в 6 часов пополудни. На императоре был один мундир. День был теплый, но к вечеру подул северо-восточный ветер. Все ждали императора в Севастополе, но он не возвращался. Стемнело. Свистел холодный и порывистый норд. Послали навстречу царю людей с факелами. К восьми он вернулся, и, кажется, с этой поездки началась его болезнь.

Он старался ее не замечать. Ездил еще верхом в Чуфут-Кале, но лихорадка его томила. В одну из прогулок около Орехова он повстречал ехавшего из Петербурга с депешами фельдъегеря. На глазах императора ямщик разогнал тройку, опрокинул телегу, и фельдъегерь, ударившись головой о землю, не приходя в сознание, умер. Эта смерть

напомнила императору, что и его жизнь на волоске. И в самом деле, он как будто хирел, томился, сразу постарел. Хотя ему было тогда всего лишь сорок восемь лет. Лечился он неохотно. 14 ноября он собрался бриться, но порезался бритвой, потому что дрожала рука, а потом закружилась голова, и он упал на пол, потеряв сознание. Вечером Елизавета Алексеевна предложила ему причаститься, и он охотно согласился.

19 ноября был пасмурный и мрачный день. В 10 часов утра император Александр умер.

Вскоре после этой официально засвидетельствованной смерти царя начались толки в народе, что император вовсе не умер, что, тяготясь державой, ушел с посохом куда-то в неизвестную даль, а похоронили вместо царя кого-то другого. Возникла легенда. Впоследствии уверяли даже, что сибирский старец Федор Кузьмич, умерший в 1864 году, был не кто иной, как сам император Александр. Легенду поддерживают иные даже в наши дни.

Но умер или не умер Александр Павлович Романов 19 ноября 1825 года в Таганроге - это в конце концов важно для его личной судьбы. Как император он умер давно. На Веронском конгрессе он уже был не более, как фантом прежнего величественного монарха. Он был призрак самодержавия. Его победила и убила революция, смысл которой он тщетно пытался разгадать.

КОНЕЦ